

72.0321
6 II

ІВ ІГОРЯХ АЛІГАЯ



1957

✓
40.

P2(182)

В 11

к 40-летию советской власти

В ГОРАХ АЛТАЯ II

Горно-Алтайская Областная
• БИБЛИОТЕКА •

ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — 1957

28473





Конст. КОЗЛОВ

Л Е Н И Н

Знакомая Красная площадь...
И мы замедляем свой шаг.
Мы видим, как ветер полощет
Октябрьский, простреленный флаг.
Мы видим: над Спасскою башней
Звезда золотая горит...
Здесь сердце Родины наше,
Здесь все о тебе говорит.
Ходил ты, народом любимый,
По площади этой не раз.
Твое легендарное имя
Опорою стало для нас.
Его пронесли мы сквозь годы,
Сквозь шквалы огня и свинца,

Оно поднимало в походах,
Оно согревало сердца...
Солдат, о победе мечтая,
Пройдя через сотни боев,
Сраженный шептал, умирая,
Бессмертное имя твое.
В труде боевом и упорном
Проходят, сменяются дни.
Как звезды, на вольных просторах
Горят новостроек огни.
Мы боремся, строим и пашем
И нас, перестроивших жизнь,
Ты в образе партии нашей
Ведешь за собой в коммунизм!

ЭТО БЫЛО ЗА ТЮНГУРОМ

Это было за Тюнгуром
Тёмной ночью.
Шел отряд в грозу и бурю
Гривой Волчьей.
По курумникам сплужим,
Хмурым кручам
Шел отряд
Войной и голодом измучен.
Шел тайгою непролазной
Без дороги.
Пел в бреду связной несвязно,
Были ноги.
На ногах гноились раны,
Донимая.
Ой вы, дикие урманы,
Даль немая.

Ой вы, гибельные скалы,
Злое небо..
Шел отряд под флагом алым,
Шел без хлеба.
Шел, презрев грозу и бурю,
Гривой Волчьей.
Это было за Тюнгуром
Тёмной ночью.
Кулачье не спит в Уймоне,
Злобу мечет.
Тешет удаль самогоном:
— Чёт иль нечет?
Заливается двухрядка,
Стонет глухо.
— Большевистские порядки?
— Где он Сухов?

Кони мчатся торопливо,
 Пыль взметая.
 Потянулись к Волчьей гриве
 Волчий стан.
 По курумникам сыпучим,
 Хмурым кручам
 Шел отряд
 Войной и голодом измучен.
 В грозных скалах крутолобых
 Ветер свищет.
 За отрядом смотрит злоба,
 Волки рыщут.
 Сорвались они с гнездовой
 В ночь и бурю.
 Много, много будет крови
 За Тюнгуром.
 Прогремел условный выстрел.
 Вскрикнул кто-то.
 Вековой покой освистан
 Пулемётом.
 Смерть рванулась из засады,
 Щеря зубы.

Был отряд. И нет отряда.
 Весь порубан.
 ... Штаб—бандитская квартира.
 Пятый вечер
 Коммуниста—командира
 Здесь увечат.
 Офицер в хмельном угаре
 Брови хмурит,
 Иностранную сигару
 Сволочь курит.
 Над землёй лютует буря,
 Вспышки молний.
 „Слушай ты, собачья шкура,—
 Сухов молвил,—
 Подводи черту под жизнью,
 Рой могилу.
 Здравствуй, племя коммунизма—
 Жизни сила!
 Пролетай, кружись над миром,
 Вольный ветер!“
 ... Расстреляли командира
 На рассвете...

В КРАЮ ПАРТИЗАНСКОМ

В стороне от нижнего Уймола,
 Где бушует в скалах Кураган,
 У подножий лиственниц зеленых
 Пролегла тропинка партизан.
 В бурелом, в безмолвие глухое
 Через согры в даль ведет она.
 Здесь повисла, словно перед боем,
 Чуткая, тугая тишина.
 Вскрикнет птица или хрустнет ветка,
 Иль на землю скатится роса.

А тебе все кажется, что это
 Раздаются чьи-то голоса.
 А тебе все кажется такое:
 Будто вот сейчас невдалеке
 Из тумана встанет пред тобою
 Человек с гранатою в руке.
 Край легенд и песен, сердцу близкий,
 Ты живешь попрежнему сполна
 Памятью о тех, чьи вobeliski
 Вписаны навечно имена.

Евгений ЧАПЫЕВ

ДУМА О РОДНОМ АЛТАЕ

В дни былые за байскую плату
 Уверял теленгитов шаман:
 — По желанью не станешь богатым,
 К достоянью ведет талисман.

Но напрасно с надеждой и страстью
 На груди его дед мой носил,—
 Даже тень долгожданного счастья
 Не ложилась на ветхий аил.

Не с того ли, покоя не зная.
 Вечно согнутый грузом забот.
 По долинам и кручам Алтая
 Кочевал бесприютный народ?

Нам бы мыкать смертельную муку
 До далеких, неведомых пор,
 Не подай богатырскую руку
 Русский брат обитателям гор.

В те минуты, когда величаво
Обнялись побратимы впервой,
Утро нашего счастья и славы
Занялось многоцветной зарей.

С русским братом, отважным, бывалым,
Нераздельны в борьбе и труде,
Через сотни крутых перевалов
Мы пришли в наш сияющий день.

Погляжу на Алтай мой чудесный,
На цветные ковры впереди,
И порывом волнующей песни
Пробуждается юность в груди.

Плава лес, плотогонов бригады
Режут зеркало Бии-реки.
Выгружая подземные клады.
Под белками гудят рудники.

Склоны гор золотятся пшеницей.
Зреют яблоки в горных садах.
С облаками лишь могут сравниться
На альпийском приволье стада.

Что же сдвинуло нас, окрылило,
К счастью вывело трудным путем,
Сартакпая волшебную силу
Пробудило в народе простом?

Красным флагом мечта вековая
Ожила над семьей россиян,
И свободные горы Алтая
Самый верный нашли талисман.

Это—братство рабочего люда.
Неизменная дружба навек,—
То, что в пламенном сердце повсюду.
Как святыню, хранит человек.

Перевод с алтайского
А. СОТНИКОВА

Иван ШОДОЕВ

ЧЕЛЕКЕЙ АПАЯТОВ

I.

... Шёл 1916 год. Подолгу не останавливающиеся дожди да холодные осенние ветры шумели в то время над Горным Алтаем.

В долине Шиверта, на опушке древних лиственниц стоял ветхий аил. Хозяин его—бедный алтаец Челекей Апаятов—никогда не гасил костра. Надо было хоть сколько-нибудь обогреть семью от пронизывающего сырого ветра. Но больше всего жена и дети мёрзли в этом плохом, одиноко затеряншемся в горах жильё зимою. Когда начиналась снежная пурга, аил содрогался, кора на нём скрипела и, казалось, вот-вот жильё сорвётся с места, а обитатели его останутся под открытым небом у погасающего костра...

Так, день за днём, коротала свою обездоленную жизнь семья Челекея.

Редко кто из соседей заходил в далекий аил. Но зато частенько к Апаятову наведывались темичи от зайсана за получением налогов и хитрый купец из Улалы, за бесценок скупавший у него пушнину. А когда уезжали „гости“, в аиле почти ничего не оставалось. Глубоко задумывался тогда над своей участью Челекей. Жена, верная подруга по очагу и всему переживаемому, подходила к нему, брала за руку и тихо говорила:

— Ну что поделаешь, Челекей? Жили так наши отцы и деды. Жить и нам так... Успокойся.

— Почему вот так мир построен: одни люди—богатые, живут припеваючи, а мы горе мыкаем?—прижимаясь к жене, произносил Челекей.

Но вот в один из осенних дней 1916 года в жизни Апаятова произошла перемена.

Ранним утром у аила залаял пёс. Приоткрыв дверь, Челекей посмотрел, но никого не было видно. Только вблизи лениво щипала траву тощая лошаденка, которую брал Апаятов у бая на время охотничьего промысла, а затем отрабатывал за это у богатея. Не прошло и пяти минут, как у аила раздался резкий окрик:

— Эй, хозяин, выходи наружу!

Челекей поспешно вышел.

Не сходя с лошади, приехавший объявил:

— Я посыльный. Тебе приказано немедленно явиться в волость. Лети стрелой, нето плохо будет!—И, прищипав коня, посыльный скрылся за каменистой горой. Слухи о войне России с Германией, о поражениях армии царя доходили и до самых далеких урочищ Горного Алтая. Кое-что знала об этом и жена Челекея.

— Чтобы это могло случиться? Горе нам какое-то будет?... — с тревогой сказала жена. — Уж не лишимся ли мы тебя?

Но Челекей ничего не сказал. Он обнял жену, затем положил несколько сырчиков в карман, сел на лошадь и уехал.

В волостном управлении мобилизовывали алтайцев „для защиты Отечества“ на тыловые работы. В числе других взят был и Челекей Апаятов.

На станции Бийск их погрузили в железнодорожный эшелон. „Тыловики“ были доставлены на Западный фронт.

„Вот он какой фронт,“—думал Челекей, видя разрушенные снарядами окопы и истекающих кровью русских солдат.

Началась фронтовая жизнь. Апаятов, как и все другие алтайцы, рыл окопы, прокладывал железнодорожное полотно, хоронил погибших солдат.

Как на фронте, так и в тылу люди жили в то время тревожными новостями. В солдатских шинелях, в рабочих куртках выступали ораторы. Они говорили о причинах кровопролитной войны, что в ней заинтересованы царь, капиталисты и помещики. Ораторы призывали к миру, к свержению ненавистного трудовому народу царского строя. В то же время выступали и другие ораторы. Они кричали: „Война до победного конца!“

Из всего этого Челекей понимал только одно: война эта несет бедному человеку пролитие крови. Зачем война, не нужна она. К другому выводу Апаятов прийти не мог: он видел, как погибали сотни людей, засыпаемые окопной землей.

Среди алтайцев-тыловиков шли разговоры о большевиках, о Советах, о Ленине. Часто ночью украдкой Челекей слышал такие разговоры, а потом стал активным участником их. Теперь уже Апаятов сознавал, что надо идти за большевиками, за Лениным, призывающими к борьбе за Советскую власть.

В царских войсках началось разложение. Солдаты отказывались вступать в бой, втыкали штыки в землю, братались с немецкими солдатами. Вместе с другими Апаятов оставил фронт.

О Февральской революции, свергнувшей царя, о Временном правительстве в Петрограде он узнал на одной из железнодорожных станций по пути домой.

На всей Сибирской железнодорожной магистрали происходили бурные собрания. На митингах солдаты и железнодорожные рабочие призывали к миру и свободе. Выступали и такие, кто призывал к продолжению войны с Германией.

Челекей вернулся в голубые горы Алтая, а позади него попрежнему лилась народная кровь, грохотали пушки.

II.

События менялись быстро, как многоводная, бурная Катунь. Из центра России шли слухи о том, что Советы взяли в свои руки власть и что бедным дают землю.

Но в Горном Алтае бесчинствовала Каракорумская управа. На всех дорогах свистела илеть белоказаков. Со всех концов Сибири сюда бежали недобитые белогвардейцы и примыкали к каракорумцам. Блуждала по Горному Алтаю свинцовая пуля. Но трудовые люди не сложили оружия. Лучшие из них, несмотря ни на что, шли навстречу смерти, героически сражались с врагом. Русские большевики вместе с передовыми трудящимися алтайцами, в числе которых был и Челекей Апаятов, вели агитационную работу среди населения, призывая его к решительной схватке с врагом.

Каракорумская управа выбросила лозунг о создании „туземного отряда“, чтобы направить его навстречу красным партизанам. С гор и долин гнали людей в волостные управления.

Апаятов оказался снова среди мобилизованных. Но теперь у него была светлая мысль и твердое решение. Он отказался вступать в позорную дивизию, а вслед за ним отказались все алтайцы, пригнанные насильно. Среди толпившихся алтайцев многие говорили о том, что им не нужна власть двуглавого царского орла, власть бая и зайсана.

Челекей тут же повел агитацию против Каракорумской управы. Метким словом родного языка он рисовал мобилизованным кровожадную власть бая Аргымая, зайсана Тобокова, каракорумца Борисова. Он говорил о Советах, о большевиках, что только они могут принести свободу и счастье.

Челекей был объявлен "опасным", и за поимку его сулили хорошие деньги. Так как алтайцы жгли царские деньги, то за Апаятова власти сулили корову. Но Челекея не удалось схватить.

В горах Алтая появились партизаны. Апаятов через знакомого русского, по имени Трофим, устанавливает тесную связь с партизанами, становится их проводником в горно-таежных трущобах. Он также секретно ведет агитационную работу среди местного населения и связывается с партизанами отряда Ивана Белова, который в то время пользовался большой популярностью.

В 1919 году Апаятов шел с секретным заданием Ивана Белова в Усть-Кан. Но тут опытный разведчик все же попал в ловушку. Сын бая Тактара—Токтубай, узнав партизанского разведчика, приказал арестовать его. Апаятова избили шомполами, а затем бросили в амбар.

Но мужественный разведчик сумел свое дело довести до конца. Утром следующего дня партизанский отряд Ивана Белова, разбив наголову противника, занял Усть-Кан.

III.

После разгрома Красной Армией основных колчаковских полчищ в Горном Алтае появились банды из остатков белогвардейщины и местных кулацко-байских элементов. Бесперывными набегами они опустошали хозяйства местного населения.

Челекей из местных бедняков создает маленький, но надежный отряд и через Ивана Белова вооружает безоружных бедняков. Рядовые Абраимов, Попов, Ороев, Колзонов и другие стали его незаменимыми помощниками.

Отряд Челекея бился с бандитами и одновременно вел агитационную работу среди самых отсталых людей, которые знали только свой клочок земли и аил. Некоторые из этих людей, ввиду своей отсталости, ушли с бандитами, но отряд Апаятова упорно добивался, чтобы перетянуть таких людей на свою сторону. И это ему удавалось. Силы красных партизан росли с каждым днем. Из всех долин шли им навстречу обездоленные, чтобы влиться в общий поток борьбы за новую жизнь.

Ябоганский белобандитский гарнизон, считавшийся в то время одним из недоступных, был уничтожен отрядами Апаятова и Бычкова.

Банда Колесникова и Бебекова, засевшая на перевалах Кырлык и Сугаш, также была разбита полностью.

Но бандиты не сдавались. В Кузуле и Кайсыне собрались все те, кто имел злобу и ненависть к Советской власти, и те, кто еще не был добитым. Бандиты объединились в один крупный отряд и выбрали командиром известного головореза Эркеяшева. Местное население крайне враждебно относилось к Эркеяшеву, поэтому он вынужден был отступить в Усть-Голпчиган.

Отряд Апаятова разбил и это последнее гнездо бандитов в Усть-Канском аймаке. Само население вылавливало прячущихся бандитов-одиночек и требовало над ними суда.

Челекей Апаятов стал первым председателем сельского Совета в Кырлыке, здесь же он стал первым учителем в школе.

Так Челекей начал новую жизнь. А за ним пошло все население Кырлыка. Пошло дружно, смело...

Сейчас Челекей Апаятов стар, пользуется в народе большим почетом, а сам попрежнему полон решимости и отваги.

**Арий РЯБИННИН,
Андрей ФЕДОРОВ**

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМБРИГ

Небольшая смолокурня стояла в глухой, поросшей кустами жимолости и бузины, лесной пади. У одного из ее склонов бил небольшой и светлый родничок, взметая со дна вихрь желтых песчинок. По утрам в этом тихом уголке раздавался нестройный птичий хор, а вечерами, после заката солнца, соревновались между собой „в певчем искусстве“ отшельник-филин да непоседливый коростель, что каждый год гнезвился где-то совсем рядом. Терпкий приятный запах дегтя и сизый дымок, стлавшийся между зарослей Иван-чая, только, пожалуй, и выдавали присутствие в пади человека.

Девятое лето, если считать с окончания русско-японской войны, жил здесь крестьянин села Боровлянка, Черышской волости, Николай Усов.

Деготь, что он гнал, за бесценок сбывался местным купцам. Обсчеты сельских богатеев Николай замечал, но никогда на них не жаловался. На зиму переезжал в село, где у него был доставшийся еще от отца домишко, а с первым снегом, как правило, уходил в тайгу на охотничий промысел. Все радости, а чаще всего заботы, делила со смолокуром его молодая жена Анна.

И долго, возможно, так бы продолжалось, если бы не грянула внезапно беда.

Стоял жаркий августовский день. Николай только что закончил свой нехитрый обед, Анна мыла посуду, как вдруг оба они ясно услышали треск сухого хвороста под конскими копытами. Через одну-две минуты супруги увидели, что всадник, едущий охлупкой и размахивающий хворостиной, не кто иной, как десятилетний соседский Яшка.

Выехав на прогалину, гонец сполз на брюхе со спины лошади, ожесточенно вытер нос рукавом ситцевой латанной рубашки и с серьезным лицом, какое бывает только у мальчишек при исполнении особо важных заданий, направился к домику. Не доходя несколько шагов до Николая, он сорвал с головы картуз без козырька, шмыгнул для солидности еще раз носом и передал смолокуру узкую полоску бумаги со словами:

— Староста Аникей Фролыч велел передать. Наказал торопиться в село. Там все мужики работу побросали, а бабы ревмя режут. Наша мамка тож зашлась...

Николай держал перед собой бланк с грифом воинского начальника, заполненный витиеватым, разухабистым писарским почерком. Заскорузлый большой палец его руки лежал на лиловой печати с раскорячившимся двуглавым орлом. Это была повестка о призыве в армию на германскую...

В село шли по не широкой лесной тропинке. Там, где стежка становилась пошире, Анна шагала рядом с мужем, а он принаравливался к ее походке. Тишина леса и молчание помогали легче переносить горе. Лишь глубоко в душе каждый старался не дать разгореться страстям до того предела, переступив через который человек становится безвольным и не походит сам на себя.

А в селе тем временем шла гуляба. Рекруты плясали и горланили пьяные песни под жалостливые всхлипывания женщин. Гульбищем верховодил сын кулака Петр Блинов. Да и то сказать, было чему радоваться: на днях Блинов—старший сунул кому надо в волости трехсотенную, и освободили Петра по чистой от воинской повинности по причине „наследственной грызи“.

У кабака вспыхнула драка, и кому-то уже успели спустить клочьями праздничную рубаху. Здоровенный парень, размазывал кровь по скуле и выдирали из изгороди осиновый кол.

На следующий день, рано утром, уложил Николай в холщевую котомку ложку, жестяной котелок да бритву, сделанную на досуге из полотна литовки. Туда же втихомолку сунула жена в тряпице брусочек желтого от долгого хранения сала. Когда умытое свежей августовской зарей солнце поднялось над сельской церковью, смолокур обнял на пороге свою Аннушку и зашагал на площадь. Здесь уже стояло с десяток телег под православное воинство.

Под вопли баб и слезы ребятишек тронулись мужики на широкий степной тракт, а оттуда—к железной дороге, чтобы через пять недель попасть в окопы.

Не многим из них суждено было вернуться в родную Боровлянку. Одни погибли под Перемышлем, другие сложили свои головы на полях Галиции. А те, что впоследствии вернулись, никогда не могли уже больше выполнять тяжелой крестьянской работы: потравил их немец газом в болотах под Молодечно.

Николай служил в разведке. Не могло им нахвалиться ротное начальство. В самые трудные операции посылали, и всегда он выполнял задания. Часами, а то и сутками, просиживал солдат в „нейтралке“ без пищи и курева, неотрывно наблюдая за неприятельскими ходами сообщения. И стоило только из-за бруствера показаться зеленой шинели, как сухо щелкала трехлинейка, и незванный пришелец навсегда обретал покой под березовым крестом, а то и вовсе без креста, на белых просторах России.

Никто лучше Николая не мог изловить „языка“.

Опустится над позициями ночь. Подпояшет служивый потуже шинельку второго срока, дойдет патрон в патронник,—нырнет в темень, и был таков. На утро явится уставший, с посеревшим лицом, но довольный. Спрыгнет в окоп и первому попавшемуся:

— Доложи, братец, поручику, что приволок тайменя. А мы тем временем у герр офицера ремешок с ручек скинем, потому без него нам никак нельзя: глядишь, сегодня завтра на поимку другого ганса придется идти.

Скучал сибиряк по родному Алтаю по-солдатски: втихомолку, сдержанно. Выпадало свободное время, писал Анне. Сквозь штамп солдатского письма сквозили нежные строки, тоска по близкому другу. О воинских подвигах сообщал между делом и пуще всего наказывал беречь Соловку—лохматого монгольского конька, с которым прошел в свое время по тайге не одну сотню верст.

Очень немногим сопутствует в ротной, тревожной жизни счастливая звезда. Закатилась она в одном из тяжелых боев и для Николая.

... Короткими перебежками преодолевала рота под артобстрелом широкое жнивье. Поредела цепь, однако солдаты бежали. Вдруг неподалеку разорвался немецкий осколочный снаряд. Охнул разведчик от невыносимой боли в боку и повалился лицом вперед на колючую стерню. Очнулся через неделю в тыловом госпитале. От соседей по койке узнал, что на носилках у санитаров угодила ему еще в

предплечье шальная пуля. Подлечили солдата немного и отправили выздоравливать домой, на Алтай.

С поезда в Бийске Николай слез в полдень. На вокзале веселились купчики, гуляли с гимназистками фронтовые армейские интенданты. Идти надо было через весь город, поэтому нанял солдат извозчика, а к вечеру в Заречье, на постоялом дворе, разыскал земляков, которые обещали доставить фронтовика домой.

Несколько дней тащился обоз по ослизлым осенним проселкам. Ночевали в селах. От всего, что увидел Николай на родной земле, еще тоскливей становилось на сердце: хлебные нивы вымолачивал ветер, чуть ли не в каждом крестьянском дворе отсутствовал хозяин, во многих избах оплакивали погибших.

В Боровлянку Николай приехал в сумерки, поблагодарил мужиков и отправился к своему дому. Моросил мелкий, нудный дождь. Подобрался солдат к заросшему крапивой оконцу, прислушался и тихо постучал. Мгновение все было тихо, потом скрипнула разошедшая дверь, и к жесткому сукну солдатской шинели припала Анна...

Утром начали собираться в избу односельчане. С любопытством рассматривали они небритого солдата, щупали австрийский штык в ножнах, оренбургский платок — подарок хозяйке, курили, кашляя, диковинные немецкие сигареты и дотошно расспрашивали о фронте, Вильгельме, замирении и „еропланах“.

Но не о подвигах русского воинства говорил своим землякам бывший разведчик, а о тех простых людях, которые остались сидеть в окопах страдать и кормить вшей, чтобы завоевать одному царю-батюшке нужную победу над проклятым германом. Он говорил им о том, что видел своими глазами на поле сражения, в госпиталях, на глухих железнодорожных полустанках, в деревнях, разрушенных шквалами артиллерийского огня, о беженцах на фронтовых дорогах. Крестьяне жадно слушали каждое его слово.

А через два года Николай чуть было не заплатил за все сказанное, когда по доносу купца Блинова едва не угодил под расстрел к колчаковцам за красную агитацию. Пришлось ему срочно бежать из села в тайгу.

Долго скитался Николай по таежным урманам. Связь с товарищами держал через жену. А где-то в июне-июле 1919 года организовал из бедноты маленький повстанческий отряд. С этих пор не стало покоя колчаковцам на большаках и проселках. Люди Усова действовали осторожно и быстро: сегодня, глядишь, разъезд конный уничтожили, а завтра продовольственный обоз по ветру пустили. Знал по опыту Николай, что с таким малым отрядом ему долго не проходить, поэтому всячески искал встреч с более крупными повстанческими соединениями.

Наступила осень, стали перепадать дожди, помутнели воды Чарыша. В селе Абинском остановился только что сформированный „Первый горно-народный“ (впоследствии „Первый горно-партизанский полк“). 18 сентября в Абу с гор спустился смелый усовский отряд в 20 штыков. С этого момента Николай Семенович Усов становится одним из активнейших организаторов партизанского движения в Горном Алтае. В октябре 1919 года он уже был командиром 1-й партизанской бригады. Это она прошла с боями через Кырлык и Усть-Кап, это ее бойцы брали Толучу и Теньгу. Жители сел Горного Алтая до сих пор с восхищением отзываются о славных делах народных мстителей под командованием Николая Семеновича Усова.

* * *

Небольшое село Курата, Онгудайского района. Неподалеку от тракта стоит бревенчатый домик.

Мы сегодня в гостях у жены Николая Семеновича Усова, Анны Васильевны. Все здесь живет и дышит памятью о нашем замечательном земляке.

Восьмидесятилетняя женщина с горестной складкой у рта рассказывает нам о

жизни своего боевого друга. Он и до настоящих дней остался для нее молодым, сильным человеком, который большую часть жизни провел в седле и походах.

На столе появляется удостоверение о награждении партизанского комбрига орденом боевого Красного Знамени. Следом за ним—Почетная грамота от бийских окружных и городских организаций в день 10-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

На твердом коленкоровом переплете золотое тиснение:

ГЕРОЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ СИБИРИ
Тов. УСОВУ НИКОЛАЮ СЕМЕНОВИЧУ

Сегодня, в день десятилетия Великой Октябрьской Революции, в день юбилейного празднования победы революционного пролетариата Союза Советских Социалистических Республик, торжественное заседание организаций Бийского округа, отмечая Ваши заслуги перед пролетарской революцией, чествует Вас, как одного из руководителей партизанского восстания Алтая-Сибири, выступившего в дни колчаковской реакции на борьбу за дело рабоче-крестьянского класса, за восстановление и укрепление Власти Советов и завершившего это дело блестящей победой пролетариата.

Ваши заслуги, Ваша храбрость и преданность перед трудящимися массами неизгладимо останутся в памяти каждого из нас.

От имени пролетариата, от имени трудового крестьянства, наше пролетарское спасибо за Ваши подвиги, тов. Усов.“

А за окном бурлит наша советская жизнь. Пронесется по широкой ленте Чуйского тракта автомобили с грузами, неподалеку мирно курит в небо дымком труба сырзавода, вздымает целину трактор, в школе звенит счастливый ребячий смех, слышится песня...

За все это храбро сражался легендарный партизанский комбриг.

Бессонные ночи над потрепанной штабной трехверсткой, изнурительные переходы через завьюженные горные перевалы, голод, раны, тяжелые испытания—все перенес этот человек во имя торжества ленинских идей.

Идет 40-летие Великого Октября. Рабочий и колхозник, школьник и ученый с благодарностью вспоминают сегодня имя простого солдата революции—Николая Семеновича Усова.

Павел КУЧИЯК

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН МАТВЕЙ КУЗЛЕКОВ

(О ч е р к¹)

— Для какого черта вы его сюда тащили? По дороге сучка крепкого не нашли, что ли?—закричал прапорщик Суслонов солдатам, приведшим из Ороктой Матвея Васильевича Кузлекова. Солдаты опустили глаза вниз, словно стыдясь того, что действительно пожалели одну пулю для этого маленького человека.

— Ты откуда?

— Улалинский житель, — ответил Матвей.

— Как в Ороктой попал?

— В Онгудай к своим в гости ездил. Обратном домой ехал, а вот ваши меня сюда вернули...

— Ваши? Вот где проговорился, красная собака!—гаркнул Суслонов, с размаху ударив рукой по столу. Огонь из стекла маленькой лампы высоко взметнулся вверх и потух. Тяжелый удар нагайки обрушился на голову Матвея: „Всыпьте шпиону!“

„Волки!“ — мелькнула мысль. Дальше Кузлеков ничего не помнил.

Очнувшись в холодном амбаре. Темно. Какой это „водопад шумит“? Но шумел не водопад, а в голове. Вторым пришло ощущение холода. Обнаружил, что раздет почти до-гола. Хотелось встать, пойти, что-нибудь надеть на себя. Но сил не было. Стал ползти по полу. В одном из углов амбара нашел пропахший конским потом потник. Завернул им ноги. Мысли занемели так же, как и тело. Тяжелой, клочковатой вереницей стали проходить картины прошлого.

Всю жизнь Матвею было так же темно и холодно, как сейчас в амбаре. С 9 лет батрачество, обглоданные куски... „Неужели я, как умирающий, вспоминаю свою жизнь? Неужели—конец? Нет! Нужно держаться!“ Утомленный в борьбе с подступающим голодом, Матвей впал в забытие. Далеким отголоском дошли до сознания внезапная стрельба и крики „Ура!“ В щели амбара пробивались бледные лучи наступающего утра. Хотелось встать, вырваться из этой клетки, но не хватало сил даже подняться на локти.

Стрельба стихла. Вскоре около амбара послышались голоса. „За мной... на расстрел...“—забилась мысль. В дверях амбара показалась группа людей, а впереди высокий бородатый русский мужчина в черном дубленом полушубке с маузером у пояса. На его серой папахе наискосок была прикреплена красная лента.

¹ „Красная Ойротия“, 15 декабря 1949 г. № 152.

... Через несколько дней Матвей Васильевич начал поправляться. И рассказал своим новым друзьям, как в Улале его хотели расстрелять за оскорбление председателя Каракорума и как он, убежав, стал пробираться в Онгудай.

— Ну, а теперь снова в Улалу вернешься?—спросил его командир партизанского отряда.

— Вы потерянную жизнь мне вернули, и теперь жизнь моя и дом мой с вами, — ответил Матвей Васильевич.

Так в конце ноября 1919 года началась его новая жизнь партизана.

* * *

Отряд преследовал белых, отступающих по Чуйскому тракту. Впереди высланной разведки ехал Матвей. Глаза природного охотника впивались взглядом в каждый камень на берегу Чуи, в каждый выступ скалы. Матвей прекрасно знал, что окружающая спокойная красота холодных, одетых в горностаевые шубы острокопечных гор, скованной льдами бурливой Чуи, обманчива и коварна. Из любой трещины, из-за первого же поворота можно ожидать внезапных выстрелов. Его зоркие глаза заметили в складке одной из гор мелькнувшее рыжее пятно величиной с шапку. „Белые!“ Матвей повернул свою лошадь к остальным трём разведчикам. Он не успел ничего сказать, как с двух сторон сзади, со скал, раздались частые выстрелы.

— „На прорыв!“—крикнул один из разведчиков, и трое помчались вперед. Повернув коня за ними, Матвей увидел, что конь последнего разведчика упал. Несмотря на сыпавшиеся со всех сторон пули, Матвей сдержал лошадь: „Садись!“ Как рысь, прыгнул товарищ на коня сзади седла, но проскакав не больше 30 сажен, лошадь под ними внезапно споткнулась и упала, убитая наповал.

— Надо защищаться! Они отползли на несколько сажен в сторону от дороги и залегли за каменным выступом.

— Смотри, держаться до последнего патрона, зря не стреляй, — шептал Кузлеков товарищу. „Хорошо, товарищ Матвей. Будем, как рябчиков, на выбор бить“. Но ни одной головы белых не было видно. Вскоре затихли и их выстрелы, а еще немного погода зашуршала камнями и раздались приглушенные голоса. Товарищ Матвея вскинул винтовку. Матвей положил руку на ствол.

— Потерпи. Они нас ищут. Думают, что убиты. „Из-за ближайших камней показались фигуры: две, три, шесть...“

— Приготовить гранату... Подпустим ближе, — шепчет Матвей.

И когда враги подошли почти вплотную, — друзья, поднявшись в полный рост, швырнули гранаты. Гулкие разрывы убили сразу четырех. Остальные бросились в рассыпную, но меткие пули двух товарищей догнали почти всех. Опять с окружающих скал, как град, посыпались пули. Матвей почувствовал, что правая нога плохо движется: „Ранен!“ — но ни слова не сказал товарищу.

До вечера враг так и не рискнул выбить разведчиков. Когда наступила ночь, Матвей выбрал направление, и они, прячась между складками скал и камней, стали отползать к берегу Чуи. Мешала раненая нога, но только когда миновала опасность, и они добрались к себе в отряд, Матвей сказал, что он ранен. На вопросы партизан, перевязывая рану, он шутил: „Зачем раньше было говорить? Все равно легче бы не было“.

* * *

В 1920 году Матвей Васильевич как коммунист мобилизуется на польский фронт. Запад не был похож на далекий родной Алтай. Ровная, как пол, земля, а небо будто большой голубой казан, перевернутый вверх дном и положенный на землю. Матвей впервые ехал по железной дороге, впервые увидел самолеты, бро-

немашины, тяжелые пушки. Для него открылся совершенно новый мир. Но очень скоро он освоился в новой обстановке настолько, что, как и в партизанском отряде, стал разведчиком. Однажды их рота, участвуя в лобовом прорыве одного из участков польского фронта, попала под жестокий пулеметный и орудийный огонь противника. Раненный в пяти местах, Матвей Васильевич не бросил винтовки да еще под руку вывел из огневой полосы тяжело раненного товарища. После выздоровления госпитальные врачи не разрешили Матвею вернуться в свою часть и предложили ехать отдыхать на родину. Пришлось подчиниться. А вернувшись на Алтай, Кузлеков увидел, что бандитская нечисть снова вылезла из своих волчьих нор и поднимает восстание против Советской власти.

— Разве можно в такое время дома сидеть?—задал себе вопрос Матвей и вместо отдыха пошел записываться в отряд ЧОН.

В октябре 1921 года около Чемала появилась банда Семенека. Командир отряда, в котором был Кузлеков, получил боевой приказ разгромить эту банду. Отряд прибыл в Чемал. Провокаторы, пробравшиеся на работу в сельревком, и чемальские кулаки сумели уверить командира отряда, что никакой банды поблизости нет, что все бандиты ушли в Монголию. Ночью же банда вместе с вооруженным местным кулачем напала на отряд, и Матвей Васильевич, раненный уже седьмой раз, попал в руки бандитов.

— Ты еще смеешь называться алтайцем?!—кричал на Кузлекова бандитский главарь Семенек.—А сам против кого идешь, против алтайцев же? С русскими сдружился?

— Я иду с теми, кто идет за советскую власть, против баев, купцов, зайсанов...

— Агитировать еще вздумал!—зарычал Семенек.—Бейте его, сколько сил хватит!

И опять, как когда-то в 1919 году, набросились на Кузлекова дикими волками. Били долго и бесчувственное, окровавленное тело, думая, что он убит, бросили в глубокий погреб.

На другой день, когда банда ушла в Эдиган, жители вытащили полуживого Матвея Васильевича, железный организм которого вынес и это ужасное испытание.

* * *

Сейчас Матвею Васильевичу 52 года. Здоровье сильно подорвано, но он никогда не жалуется на недомогание. Он бодр духом. Он чувствует себя свободным гражданином своей великой любимой родины, за которую он боролся. Он шагает в ногу с сегодняшним днем. Его любимые друзья: книги, журналы, тетрадь для записи особенно понравившихся мест в прочтенной литературе. А самый большой друг, с которым он почти не расстается. Краткий курс истории ВКП(б). Матвей Васильевич любит с заслуженной гордостью говорить: „Вот вы 8-ю главу подолгу изучаете, а мне ее изучать легко, потому что я помогал делать то, что в ней написано“.

Перевод с алтайского Б. КАИРСКОГО

Иван, БАКЛЫКОВ

В Р А Ж Д А

(Главы из романа)

ПОХОД НА ЗЕМЛЮ

1

Ночь. В сельсовете сильно накурено. Из-за густого дыма трудно было разглядеть лица присутствующих. Маленькая керосиновая лампа, с разбитым стеклом, подвешенная к потолку, тускло освещала небольшой низенький закуток—кабинет председателя сельсовета Евсеича.

Третий час уже шло партийное собрание. Межовские коммунисты—их было шестеро: Самойла Волгин, Мефодий Степанов—секретарь комсомольской ячейки, Леон Феоктистович Прокудин, Дементий Лямин, дед Евсеич и межовский пильщик Семен Калистратыч Ветлугин, или просто Сенька Полторы-Бродяги, как прозвали его межовцы за непомерно высокий рост и бродячий образ жизни,—обсуждали вопрос о предстоящем переделе земли.

Все уже много говорили, напорились, наругались и теперь сидели молча, дымя самокрутками, хотя ни к какому решению еще не пришли. Никак не могли договориться о сроках. Леон Феоктистович и Дементий Лямин предлагали перенести раздел всей земли на осень, когда закончатся все полевые работы, но Евсеич и Сенька Полторы-Бродяги настойчиво требовали не откладывать этого дела в долгий ящик.

— Ну, так как, товарищи? На чем порешим?—в который раз уже обращался к собранию председательствующий Мефодий.—Время уже много, затянулись мы с нашими спорами.

— А ты не торопи!—недовольно ответил Евсеич, он все еще не мог остыть от схватки с Дементием Ляминым.—Кошке родить—некуда спешить! Дай подумать...

Все невольно рассмеялись.

— Плохой смех, мужики!—Евсеич встал с лавки, бросил в угол папиросу, прошелся по закутку—три шага вперед, три шага назад. Остановился у стола.—Я думаю так,—сказал он.—В тайне нам не сохранить этого решения. Все равно люди узнают. Не от нас, так от других. Земля слухом полнится...

— Это верно,—согласился Дементий Лямин.—Ну, и что же, что узнают?—спросил он.

— А то, что прозевать можем!

— Опять за то!..—отмахнулся Лямин.

— А ты не махай руками—промахаешься!—снова вспылел дед Евсеич.—Не первый год Луниных знаем...

— Правильно! — поддержал его Полторы-Бродяги. — У них что ни день, то новость. Придумают такую штучку, что потом будешь локоть кусать, да не достанешь! Я согласен с Романом Евсеичем и настаиваю...

— Тебе-то что, тебе хорошо настаивать. У тебя посева нет, убирать нечего, — укорил Леон Феокистович.

— А ты меня не коли этим! — вспыхнул Сенька Полторы-Бродяги. — Я меньше всего о себе думаю. Мне земли не надо. А вот если мужики останутся без земли по вашей доброй милости, что тогда мы, коммунисты, им скажем? Подумал об этом? — Он встал на ноги и уперся головой в потолок.

— И нечего думать!

— Зря!

— Кому как! — возразил Дементий Лямин.

И снова разгорелись споры. Каждый стоял на своем. Говорили долго, настойчиво, с жаром доказывая друг другу свою правоту, и только под утро, когда угрожающе замигала керосинка, пришли к примирению, согласились на компромиссное предложение Волгина: решили не откладывать передел земли на осень, а провести его сразу же перед уборкой хлеба, как только закончится сенокос.

2

Воскресенье.

Ясный погожий день. У сельсовета толпились люди. Межовцы еще вечером узнали о решении райисполкома — как говорят, шила в мешке не утаишь! — и теперь, заполнив ограду, в ожидании председателя сельсовета громко шумели и кричали на всю улицу. Ясных представлений о переделе земли пока ни у кого не было, знали только, что часть Лунина дола должна отойти к Межовке, но как она, эта часть, будет поделена между самими межовцами, никто не знал.

Судили по-разному. Кто говорил, что этой землей будут наделяться все поровну — и члены артели и единоличники, — а кто утверждал, что только одни колхозники, поэтому волнение росло, каждый что-то доказывал, кричал, словно криком хотел убедить кого-то, что правда не в том, а в этом.

И как всегда в таких случаях, спор переходил в скандалы. Больше всех волновался и кричал Илья Пыжик.

— Граждане! Сколько лет живем при советской власти, а где она, справедливость? А? — бегал он от одного к другому. — Где оно, мужики, равноправье, я спрашиваю вас?!

СЕНЬКА — А ты у себя об этом спроси!

— Там оно, Илья, на хребтах! Солнышком где побольше припекает!

— У кержаков! У Луниных! — подзадоривали его мужики.

— Вон ведь какой закон! — метнулся Пыжик к крыльцу. — Кержакам все, а нам ничего?!. Нам на гальках сидеть да из штанов энтим самым местом сверкать! Дело разве это, кой грех! — он взбежал на крыльцо и, оттеснив в сторону Григория Крючка, завопил еще громче: — Граждане-мужики! Требовать надо от Волгина!.. Весь Лунин дол у хуторян отнять! — Хватит — отошло то время!..

— Правильно, Илья!

— Верно, Пыжик!

— Крой их, дармоедов!

И Илья Пыжик, разжигаемый мужиками, разошелся еще сильнее.

— Мыслимо ли это, мужики! А? За помол Ипатке — отдай! За обойку Елизарке — выложи!.. Все у них! И Лунин дол у них!.. Докуль это, кой грех, так будет!..

К Пыжику подскочил Федулов Афонька. Он только что появился у сельсовета и был еще пьян. Лицо его было все измято, глаза красные, заплаыли с перепоя: должно быть, эту ночь он провел у кержаков на хуторе.

— С пупу не сорви, Пыжик!—оскалив желтые лошадиные зубы, взвизгнул он, толкнув Пыжика.—Шибко много захотел! Гляди, как бы грыжа не лопнула!

— А ты за кого это?—вмешался Леонов Еремка, молоденький, но крепкий, коренастый паренек-комсомолец.—За хуторян? А ну-ка, иди отсюда!—подтолкнул он Федулова.—Там, говорят, Ипат Агапеч на хуторе тебя с поллитрой поджидает. Похмелить хочет...

В ограде громко захохотали. Обстановка обострялась. Афонька Федулов полез на Еремку, закричал:

— А ты сидишь в своей коммуне, ну и сиди! Тебя не трогают!..

— А я вот сам тебя трону!—Еремка схватил Федулова за ворот и сильно потряхнул. У Афоньки громко чакнули зубы.—Уйдешь отсюда?!

— Бей его, бей, Еремка!

— Ишь облакат какой нашелся!

— Дай ему, чтоб запомнил наших!..

— Отстань, Еремка!—свирепея, вскричал Федулов.—Худо будет!

— А ты не стражай! Не таких видали!—Еремка снова ухватил Федулова за ворот.—Значит, не уйдешь сам?!—Он так потряхнул его, что тот, взывав ногами, кубарем полетел с крыльца.

Кто стоял у крыльца, громко захохотали. Откуда-то выскочил Григорий Крючок, плюгавенький мужик с реденькой бородкой, и громко закричал:

— Граждане, бьют! Коммунисты человека избивают!

К нему сзади подступил Игнатий Нефёдыч, весь седой, но еще крепкий старик.

— А ты чего орешь?—спросил он строго.—Какая тебе тут ярманка?! Не бьют, а только бить собираются. Иди-ка, иди, милок, отсюда!—подтолкнул он его под зад.

Афонька Федулов вступился за Григория Крючка, и они вместе бросились на Игнатия Нефёдыча.

— Ах, в лоб те ложкой! — вспылil старик.— Ах, вы, шшенки лунинские! — Он занёс над Афонькой Федуловым кулак, но ударить ему не пришлось: Леонов Еремка сильным ударом кулака сбил Федулова с ног, и толпа, оттеснив в сторону деда Игнатия, с криком и воем кинулась на Афоньку и Григория Крючка. Со всех сторон к крыльцу сельсовета сбегались мужики и ребята, толпа росла и превращалась в живой ком.

Ограда огласилась воем.

— Бей их!..

— Бей их—кулацких облакатов!.. Бей!..

Трудно было разобрать, кто кого бьёт, кто на кого наступает: все размахивали кулаками, оралi,— к людям невозможно было подступить.

Из сельсовета выскочили один за другим Сенька Полторы-Бродяги и Мефодий. Они ворвались в толпу, и Сенька Полторы-Бродяги, ловко и сильно работая руками, точно снопы на гумне, стал разбрасывать людей в стороны. Он напористо пробивался вперёд. Его чёрная, всклоченная голова металась над толпой, как подбитая галка. Мужики свирепели, хватались за него, он отбивался. Наконец, ему удалось добраться до середины, он выхватил из толпы всего измятого, уже в крови Афоньку и, подняв его над головой, потащил к сельсовету.

Люди на секунду замерли, точно их обдало холодным ветром. Затем снова двинулись стеною — теперь уже к крыльцу, на Сеньку Полторы-Бродяги.

— И ты, Семён, за хуторских пошёл!..

— Коммунист, кулакам проданся!..

— Бери его! Бери его вместе с Федуловым!..

Сенька Полторы-Бродяги, втокнув Афоньку Федулова, захлопнул дверь, сам стал лицом к толпе, подпер плечами косяк и, раскинув в стороны руки, всем своим грузным телом подался вперед.

— Стойте вы! Стойте, мало дело!—крикнул он зычным голосом.

Толпа на миг отшатнулась, но потом снова наперла на него. Передние, хватаясь за него, кричали, ревели, такой же рев доносился и из задних рядов; он заполнял собой все, сотрясая воздух. В коротких промежутках слышались жалобные стоны, брань; люди, казалось, забыли обо всем, лезли, подминали слабых под себя, топтали ногами.

Неукротима сила людей, поддавшихся буйной страсти, потерявших управление собой,—все, что таил в глуби души своей человек, вырывалось сейчас наружу, как вихрь, как взметнувшееся в этом вихре пламя.

В глазах Семена Калистратыча пестрило, он видел перед собой только одни бороды да глаза, метавшие гневные искры. Люди хрипели, стонали, сжимаемые между перилами крыльца,—остановить их, казалось, теперь было невозможно, как невозможно укротить потока воды, вдруг прорвавшей запруду.

Семен Калистратыч пошел на хитрость: напрягаясь из последних сил, он уперся руками и ногами в косяки, так что они заскрипели, сильным рывком подался вперед и сделал движение в сторону. Перила хрустнули, и все, кто был на крыльце, обрушились на землю.

Толпа надрывно вскрикнула и отступила назад. И снова на мгновение установилась тишина, среди которой все ясно расслышали вздохи и оханье людей.

Полторы-Бродяги выступил вперед.

— Хо! Мало дело! Войну какую сотворили!—разминая затекшие ноги и плечи, беззлобно выругался он.—Нашли на ком зло срывать—на пьянице! Да он и гроша медного не стоит вместе с потрохами. А вы—убивать! Ну, убили бы, а отвечать кто? Всем отвечать пришлось бы!—Семен Калистратыч окинул взглядом мужиков, присмиревших вдруг и с укором добавил: И меня тоже в пособники кулаков причислили. А за что? За то, что беду хочу от вас отвести?.. Я—пильщик-плотник. Мне, мало дело, земли не надо. Но хуторяны мне тоже поперек горла стоят! Попадись они мне...—поднял он над головой огромный кулак.—Устрапаю по закону!

Семен Калистратыч стоял, широко расставив ноги. Он замолчал. Люди тоже молчали. И никто не решился больше взойти на крыльцо.

3.

Все это произошло в какие-то две три минуты. И как раз в тот момент, когда Сенька Полторы-Бродяги, вскинув над головой кулак, крикнул: „Устрапаю—по закону!“—точно по чьему-то навету, в ограду сельсовета влетел на взъяренном молодом жеребце Ипатов Архипка.

Появление хуторского молодого человека в такую минуту было настолько неожиданным, что люди совсем растерялись. Но это только на какое-то мгновение. В следующий миг всеми овладело любопытство—что призовет между Архипкой и Сенькой Полторы-Бродяги.

Архипка быстро подскочил к крыльцу и резко осадил коня. Конь перебирал ногами и широко раздувал ноздри. Налегая руками на луку, Архипка перегнулся через седло.

— Кому это ты такую угрозу сулишь? А?—вцепился он узенькими глазками в Семена Калистратыча.—Каким это законом пугаешь?..

Семен Калистратыч широким шагом сошел с крыльца и остановился возле Архипки. Он посмотрел на него так, точно хотел сказать: что мне с тобой, малец, делать!—и чуть не расхохотался от Архипкиной важности. Ответил:

— Каким? А вот таким, по которому всех вас—ф-фють!—махнул он рукой по ладони, словно сметая с неё мусор.—Понятно?

— Кого это всех—объясни?—прищурился Архипка, подавшись еще больше вперед.

— Ну, вас,—уже серьезно сказал Полторы-Бродяги.—Всех. Хуторских. И со всеми прихлебателями, вроде Афоньки. Пойди взгляни на него, может, поймешь.

По толпе пронесся смешок. Межовцы вдруг оживились, и неловкость, которая только что стесняла их, сразу исчезла.

— А не много ли будет?—нажимая сильнее на лук и стараясь не терять духа, попытался съязвить Архипка.—А?

— В самый какраз!

— Хо-хо-хо!—подражая своему отцу, раскатился ломаным баском Архипка.—В самый какраз! А государству, может, не выгодно это. Не выгодно, скажем, вот, к примеру, вас с нами равнять. Что оно может взять с вас? Клок волос?—метнул он вызывающий взгляд в толпу.—Какие вы можете дивиденды составлять, к примеру, государству?.. Мы, можно сказать, середняки—опора советской власти на деревне! А вы?

— Вон ты какой, мало дело! Грамотный!—Сенька Полторы-Бродяги взял за повод коня, Ди-ви-ден-ты! И не выговоришь скоро!—иронически рассмеялся он, вдруг почерствев.—Середня-яки-и, опо-ора!.. Вот где она—эта опора, у нас!—склонив голову ударил он себя ладонью по затылку.—Вот что, малец, убирайся-ка лучше отсюда поскорей! Пока цел! А то, мало дело, вот как обопрусь... Сломаешься? Оп-по-ора, сукин сын!

— Верно, Семен Калистратыч, верно!—снова оказавшись на переднем плане, вскрикнул Пыжик.—Опора государству мы—бедняки! Кулаков советская власть ликвидирует!..

— Так то же кулаков, а не нас!—вырывая повод из рук Полторы-Бродяги, зло крикнул Архипка:—Тоже! Кричишь—Пыжик!.. Что с тебя взять—штаны? Они—в дырках!..

— А ты не хватай меня за болячку!—взревел Пыжик.— Не хватай, мол! А то кой грех, не сдержусь!..—он подскочил к Архипке и замахнулся на него кулаком. Еще секунда, и он, пожалуй, ударил бы Архипку, но Семен Калистратыч удержал его.

— Оставь, Илья! Не надо греха заводить

— Чего там! Бей его, Илья Авдееч!

— Ударь, Пыжик!

— Бей его!—кричали парни, и, пожалуй, больше из озорства, чем из ненависти, они двинулись на Архипку.

Архипка растерялся. Он изо всех сил дергал за повод коня, но напрасно: сильная и цепкая рука Семена Калистратыча крепко удерживала повод. Конь под Архипкой храпел.

— Пусти! Отвечать будешь!..

— Это, пожалуй, верно!—рассмеялся Семен Калистратыч.—Эх, а надо бы!.. Да неохота руки пачкать!..

Архипка в бессильной ярости скрипел зубами. Конь под ним извивался, метал ошалелыми синими глазами искру.

— А ну!—Полторы-Бродяги, наконец, разжал повод и махнул в направлении ворот рукой.—Убирайся! А то, мало дело, и впрямь не ручаюсь: рук ног не соберешь, по частям выбросят!..

КТО КОГО!

1

Ипат Агапееч, только что отобедав, лежал под поветкой, в холодке, когда из деревни, что есть мочи, на взмыленном жеребце прискакал Архипка.

— Ты чего так?!—привстав с дрожек, сердито окликнул Ипат Агапееч.—В такую жару махом, с ума сошел! Запалишь жеребца!..

— Земельная нарезка объявлена!—Архипка соскочил с коня.—Торопился... сказать.

— Как объявлена?!—словно стегнули бичом, вскочил Ипат Агапенч.

— Был в деревне, собрание уже идет. Полторы-Бродяги грозится, хутор, говорит, уничтожить надо. Афоньку Федулова избили.

Ипат Агапенч помял бороду, нахмурился. Что-то надо было делать, но он не знал что, и топтался на месте.

— Ладно! Чего стоишь, отведи коня-то! Да смотри, чтоб воды не напился с поту, вишь, как умылил. Подохнет!—строго прикрикнул он.

— Летом-то?—удивленно глянул на отца Архипка.

— Говорю—делай!

— А ты чего, тятенька, на меня, как на мальчишку!

Ипат Агапенч остолбенел. В глазах пошли зеленые круги, ноги словно стали проваливаться—кто это посмел с ним так! Но он сдержался, ничего не ответил и только крепко стиснул кулаки и зубы, блеснул злыми глазами и, выгнув голову, как бык, готовый к броску, широким шагом пошел из-под поветки.

Архипка бросил на предамбарье седло, растер жеребцу спину, вскочил на него и выбежал из ограды.

— Сопл-ляк!—бросил вслед ему Ипат Агапенч.

Он сходил в дом, надел картуз и вышел на улицу.

Из раскрытого окна Елизаровой горницы на улицу вырвались голоса песни—

В саду я-ягодка мали-ника
Под прикры-тием ро-осла-а...

Ипат Агапенч вначале думал, что у свата гости, и даже мысленно выругался—нашли время гулять! Но тут же вспомнил, что Елизар Парфеныч на днях ездил в город и купил граммофон, грустно усмехнулся.

— Что это со мной? Приключенье за приключеньем...

Ипат Агапенч снял картуз и перекрестился. Затем он постоял немного, прикрыл за собою тесовые ворота и пошел к свату.

По дороге встретил Митьку. Работник шел от мельницы; должно быть, ходил купаться. Волосы на голове у него были всклочены, в руках он нес мокрую рубаху.

Ипат Агапенч остановил его.

— Не хотелось было этого, да что ж поделаешь, видно такая планида. Можешь уходить от нас.

Смыков смутился, покраснел.

— Почему это? Расчет?

— Должно быть, так.—Ипат Агапенч улыбнулся. — Говорю, не хотелось... Но ничего не поделаешь. Скажи Акулине или Дарке. Пускай соберут что из одежды. Ну, и иди—с богом!..

Ипат Агапенч поправил на голове картуз и быстро пошел от Митьки.

2

В садике Елизара Парфеныча, под кустами черемухи, в тени, кто на чем сидели мужики: Кузьма Егорыч Лунин, хуторской уполномоченный сельсовета, степенный старик, с длинной седой бородой; братья Зенковы—Иван и Спиридон, зять Елизара Парфеныча, единственные не лунинские, но зажиточные хуторяне, и Ермолай Ивойлыч—не в Луниных, от природы всех черных,—рыжий с широкой курчавой бородой и, как огурец, толстым, бугристым носом, широкоплечий крепкий мужик.

В горнице играл граммофон. Оттуда неслись звуки песни—

На ве-ерх вы, това-ариши, все-е по места-ам,
Последни-ий парад наступа-ает...

Мужики праздновали Петров день. Они были разнаряжены в пестрые рубахи, в новые суконные пиджаки, шаравары. Перед ними на трехногой опрокинутой табуретке стояло решето с семечками, и они, слушая музыку, щелкали, плевались шелухой, тихо разговаривали.

— „Все по местам!“ — подсаживаясь к Ермолаю Ивойлычу, повторил слова песни Ипат Агапеич. — А вот мы не поместам!

— А что? — усмехнулся Ермолай Ивойлыч. — Спина болит, ненастье ворожит?

— Хуже! Наш дол собираются делить.

Из окна, раздвинув цветы герани, на улицу высунулась всклокоченная голова Елизара Парфеныча.

— Откуда знаешь?

— Решение города есть. Архинка только что из деревни прибежал. Сказывает собрание уже идет.

Грамофон сердито всхлипнул и смолк. Мужики повставали со своих мест. На крыльцо, одевая на ходу пиджак и расправляя волосы, вышел Елизар Парфеныч. Новость для него не была неожиданной, однако он все же как-то порастерялся. На черном угреватом лице его обозначились синие пятна, широкий лоб помрачнел и покрылся испариной — вот оно, наконец, подступило!

— М-мда!.. — глянул он на хуторян. — Надо мекать!..

— Чего тут мекать — и так все ясно! — запальчиво сказал Кузьма Егорыч. — Как наемни говорили, так и делать надо. Кто кого! Лучшего не придумать: без земли какая жизнь! — И тут же, как представитель власти, дал распоряжение: — Вот что, Иван, да и ты, Спиридон, вы помоложе, — глянул он на братьев Зенковых. — Идите зовите хуторян на сходку.

Когда Зенковы ушли, Ипат Агапеич подошел к Кузьме Егорычу.

— Об артели говорить тебе придется. Как ни как, а ты у нас советская власть на месте. Так лучше будет.

Кузьма Егорыч молча согласился. Больше никто ничего не сказал. Все молчали, казалось, думая всяк о своем. Но думы тревожили общие: тяжело было каждому из них расставаться с тем, к чему так сильно привык, с чем так крепко сжился; и каждый чувствовал себя как-то неловко, точно кто-то накинул на него тесный пиджак и теперь с силой сжимал плечи, стараясь застегнуть полы, — теснило грудь, задерживало дыханье.

Елизар Парфеныч кашлянул, хотел что-то сказать, но только пожевал губами и опять кашлянул — м-м-мда!..

Ипат Агапеич, облокотившись на плетень полисадника, задумчиво глядел куда-то вдаль, точно в эти последние минуты, перед тем как должна была решиться судьба, он хотел еще раз найти там, в пространстве, что-то значительное — ответ на волнующие его думы. Но кругом — пусто; кроме гор и полей — ничего не видел.

День стоял солнечный, жаркий. Парило. И оттого голубое небо казалось бездонным, легким, прозрачным. Вдали, между гор, и над хлебными полями, идущими изжелта-зеленой полосой по отлогому склону Лунина дола, струилось марево. Все кругом: и лес, и поля, и горы — близкие и далекие — изнемогало от жаркой истомы. В садике тоже было душно. От кустов и от трав, перегретых солнцем, исходил приторно-горький запах, смешенный с привкусом запаха полыни и мяты. Духота угнетала. Томило сердце. Лишь изредка набегал ветерок — тогда все вдруг оживало: марево начинало волноваться сильнее, горы покрывались серебристой рябью, поля, казалось, расширялись и, уходя в бесконечную даль, насколько хватал глаз, теря-

лись там, сливаясь с причудливыми очертаниями темно-зеленых, а дальше—сиреневых гор.

На душе становилось легче.

Ипат Агапеич приложил козырьком ко лбу руку, посмотрел вверх. Там, высоко в небе, прозрачном и чистом, парил беркут. Распластав остrokонечные крылья, хищник описывал большие, ровные круги, то медленно снижаясь, то снова спиралью набирая высь. Временами он стремительно шарахался вниз, как бы заметив жертву и боясь упустить ее, вертел головой,—тогда было видно, как на солнце блестел его изогнутый хищный клюв.

— Как ворон на кровь!—вспомнил Ипат Агапеич слова Волгина и злорадно усмехнулся. В голову пришло сравнение: летает не беркут, а сам Волгин—такой же сильный, упрямый.

— Добычу ищешь? Не найдешь! Вот, на-ка тебе—выкуси!—Ипат Агапеич оторвал руку от глаз и сунул в небо кукишь.—Посмотрим—кто кого!..

— Ты это кому, Ипат Агапеич? Кукиш-то?—услышал он позади насмешливый голос и обернулся.

К нему подходил Ермолай Ивойлыч.

— С богом не поладил, что ли?

— Да вон—пакостник летает,—смутившись, ответил Ипат Агапеич.—Кур, должно, ищет. Намедни такой же вот двух цыплят у нас из огорода стащил,—слукавил он, застыдившись своих мыслей.—Стрелять их, поганцев, из ружья!.. Только!

Ермолай Ивойлыч громко рассмеялся.

3

Хуторяне собрались дружно. У амбара, под навесом, Архипка с Даркой расстановляли скамейки и стулья. Люди проходили вперед, тут же занимали места, рассаживались по скамейкам, а кому не хватало мест, располагались, кто на чем, перебрасываясь на ходу шутками, интересуясь повесткой собрания. Все, конечно, знали уже, какой вопрос будет решаться—Ипат Агапеич заранее оповестил кое-кого,—но все еще как-то не верилось людям: думали, что не скоро, а произошло так быстро, что не успели они как следует освоиться с этим новым, как вот и собрание,—и каждому, казалось, теперь хотелось еще раз услышать, пусть хотя и то же, но от кого-нибудь другого—а вдруг это был сон, а не правда.

Последним на собрание пришел Еремей Тихоныч, двоюродный брат Елизара Парфеныча, единственный бедняк во всем хуторе, безногий, на костылях—инвалид германской войны. Вместе с Еремеем Тихонычем пришла вся его семья: жена, маленькая худенькая женщина, изрезанная вся морщинами, и шестеро ребятишек—один одного меньше. Мест на скамейках им уже не осталось, и они всем своим выводком заняли почти все предамбарье.

С приходом Еремея Тихоныча хуторяне было развеселились, по рядам прошел смехок, начались шутки, но тут из амбара вышла Дарка, вынесла оттуда небольшой круглый столик, накинула на него белую скатерть, и за столиком появился Кузьма Егорыч.

Все стихли.

Перед тем, как начать говорить, Кузьма Егорыч обвел блуждающим взглядом хуторян, степенно покашлял в ладошку и затем, расправив бороду и подумав немного, сказал:

— Говорить я долго не буду. Не умею говорить. Так что предложу сразу. Все вы читаете газетки и знаете, куда, по какой дороге направляется наша жизнь. Советская власть, наше правительство то-есть, обращается к трудовому крестьянству, чтобы начинали жить по-другому. Как известно, новоселы уже откликнулись на это призыванье советской власти, правительства то-есть, и организовались в артель.—

Кузьма Егорыч зажмурился, точно глянул на солнце, потом, потеревив себя за бороду, добавил:— Вот и я, стало быть, от лица местной советской власти призываю вас начать новую жизнь... то-есть воедино. И прошу, кому непонятно что—спросить и высказаться.

По собранию пробежал шумок. Еремей Тихоныч не поверил своим ушам: или он не так понял Кузьму Егорыча, или здесь что-то творится не то—откуда у него прыть! Он постучал концом костыля по столбику, протянул руку.

— Вопрос у меня! Поясни, Кузьма Егорыч, как это воедино?

Кузьма Егорыч поморщился. Потом достал из кармана большой красный платок, отер им со лба пот, громко высморкался. Затем кашлянул в ладошку, подумал немного и опять, приложив к бороде ладонь, кашлянул два раза.

— А так, организовать, значит, вроде ТОЗ,—ответил он и разъяснил:—Товарищество совместной работы на земле.

Еремей Тихоныч усмехнулся, покрутил головой, но ничего не сказал.

Стояла мертвая тишина. И всем было слышно, как кто-то тяжело вздохнул, кто-то недовольно хмыкнул; но никто ничем не отозвался на это. Игривое легкое настроение, еще не так давно владевшее хуторянами, слетело, как мертвый лист с дерева.

Все молчали.

Слово попросил Ипат Агапеич. Бессонными ночами он многое передумал, давно уже испытал, пережил и подавил в себе чувство страха перед тем, к чему шел, а сегодняшний случай с беркутом, казалось, окончательно сжег все его пути к отступлению. Он решил действовать напрямик. Каждый должен знать и быть готовым к решительной схватке в борьбе за Лунин дол.

— Страху тут, товарищи мужики, никакого нет,—твердо сказал он, и все, кто услышал эти слова, вскинул на него голову.—Все одно—когда никогда, а вступать в артель придется. К этому сейчас все идет! Кто не слышал, о чем вчера на мельнице странный человек рассказывал? В Долони, говорит, в Красном—Яру и в других деревнях, где проходил он,—езде, говорит, всех в колхозы сгоняют. А тех, говорит, кто отказывается, на Север ссылают, к якутам. Так неужели и нам, мужики, дожидаться этого?

Бабы тяжело завздохали, стали утирать фартуками глаза. Ипат Агапеич окинул холодным, сковывающим душу, свирепым взглядом хуторян.

— Нет, этого ждать нельзя!—рубнул он кулаком воздух.—Что будет дальше—посмотрим, а сейчас надо создавать артель. Как говорят ячеешники: „Кто отстает—того бьют!“ Вот и нас избьют, если будем ждать. Самошка Волгин метит у нас дол отобрать—кто не знает? Все знаем! А разве можно оставаться без земли? Нет! Вот и выходит: медлить нельзя. Объединяться надо!—решительно заключил он. И чтобы подкрепить правоту своих слов, добавил:—Нельзя ждать, когда погонят силой. А теперь это выйдет даже лучше. Как бы пример: сами организовались в артель! Без всякой нажимки. Бумагу в газету пошлем сами, мол, желаем и пришли к новой жизни! А за это нам и почет, и помощь, и поддержка всякая от власти. Снисхождение в налоге... Вот о чем думать надо!

Ипат Агапеич попал в цель. Мужики ожили, заскрипели скамейками, стульями. Послышались разговоры—сначала тихие, потом громче.

Ипат Агапеич терпеливо выжидал—пускай поговорят! Зерно брошено—всходы будут.

Минуты шли. Оживление росло. Настроение заметно менялось. Казалось, люди постепенно начинали освобождаться из-под власти оцепенения, владевшего ими, и сама действительность будущего, ярко нарисованная Ипатом Агапеичем, начинала пробуждать в них уверенность и сознание необходимости этого будущего. На сердце становилось легче: то, что накануне собрания каждому казалось невероятным и как-

то пугало, теперь подошло вплотную, и отступать было некуда, — правда, страшно-вато немного еще, но ничего не поделаешь: надо смелее решать!

— Другого выхода нет, мужики! — как бы разгадывая мысли хуторян, снова заговорил Ипат Агапеич. — Колхоз! Только объединение! — Он опять помолчал, затем окинул взглядом собрание, стал продолжать: — Надо объединяться. А насчет условий объединения, то здесь, я думаю, порядок мы установим такой. Хозяйство по-врозь. Хозяйство не трогаем... Объединяем работу, труд то-есть. Напишем артельный договор, определим, у кого сколько рабочих людей, сколько машин, коней и прочее. По этому договору и будем распределять доходы.

И снова по собранию прошел шумок, но теперь уже более веселый. — в нем можно было расслышать шутку и вместе с тем увидеть на лице улыбку.

К столу на место Ипата Агапеича вышел Ермолай Ивойлыч. Пошептав что-то на ухо Кузьме Егорычу, он обернулся к собранию, подождал, когда станет тише, и, разглаживая рукой рыжую бороду, с лукавинкой в голосе начал:

— Вот ведь, мужики, до чего дожили, а! Хочешь — не хочешь, а в воду бросайся!.. Ну что ж, я среди вас один рыжий, — усмехнулся он, мне, видимо, и начинать первому. Записывай, Кузьма Егорыч — первый изъявляю свое согласие! Ну, кто за мной?.. — крикнул он, сверкнув серыми глазами.

В ответ ему раздался громкий бабий вздох. Собрание облетел дружный смех, и опять стало тихо.

— Пиши меня! — крикнул с места Елизар Парфеныч.

— И нас с Филатом! — решительно махнула рукой Лукерья Мелентьевна, полная и бойкая пожилая женщина. — Семь бед — один ответ! Поди, хуже не будет!

За Лукерьей Мелентьевной последовало еще несколько человек.

Ипат Агапеич радел: запись шла хорошо. Записывались пока все те, на кого он рассчитывал и кого хотел. Сам же он усиленно работал над братьями Зенковыми. Старший Зенков соглашался, а младший, Иван, почему-то еще упрямился. Но это, должно быть, просто из озорства, из желания, чтобы Ипат Агапеич подольше поухаживал за ним, — молодость любит почет!

Рядом с Ипатом Агапеичем, по правую руку, сидели Степан Васильич и Алексей Мироныч Лунины — оба одних лет, оба без единой сединки, старики — и тоже негромко спорили. Степан Васильич заметно сердился: Алексей Мироныч, видимо, наседавал на него. Вот он встал, что-то хотел сказать, но только потоптался на месте и опять сел, махнув Алексею Миронычу рукой — дескать сам!

Алексей Мироныч крикнул:

— Кузьма Егорыч, запиши меня и Степана!

Ипату Агапеичу, наконец, удалось уломать и второго Зенкова. Он приподнялся с места и крикнул:

— От братьев Зенковых заявленье!

— Пиши и меня, Кузьма Егорыч! — присоединился к нему повеселевший голос Еремея Тихоныча. — Со всеми ребятенками! Как говорит Лукерья: семь бед — один ответ! Хуже не будет! — И Еремей Тихоныч громко рассмеялся.

Кузьма Егорыч опешил. Не ожидая такого совпадения, он растерялся и не знал, что делать; если записывать Зенковых, тогда надо будет записывать и Еремея Тихоныча. А это не входило в его планы. Он стоял с красным платком в руке и беспомощно хлопал глазами. Но это длилось недолго, он тут же опомнился и решил пойти на хитрость.

— Итак, товарищи мужики, всего записалось шестнадцать человек. Как будем дальше вести запись: просто или голосованием? — глянул он в сторону Ипата Агапеича.

— Как же это так, Кузьма Егорыч? А? — в свою очередь опешил Еремей Тихоныч. — Сам ты вроде как бы советовал, сам предлагал, а теперь?..

— А теперь мы не одни!—пришел на выручку Кузьме Егорычу Ермолай Ивойлыч.—Теперь уже как бы вроде артель у нас,—сказал он с заметной издевкой, поглаживая рыжую бороду.—Я предлагаю голосовать!

-- Н-не надо!—гневно крикнул Еремей Тихоныч, вскакивая с предамбарья.— Не хочу! Сознательных принимайте, которые... Пойдем, баба! Пошли, ребяташки!.. --Он с силой дернул козырек рваного картуза и, стуча костылями, заковылял от амбара.

Кто-то засмеялся, но этот смех в напряженной тишине был неуместным и остался одиноким. Ипат Агапеич неодобрительно глянул на Кузьму Егорыча и громко, чтобы все слышали, крикнул:

— Ермолай Тихоныч, погоди!—И обернулся к собранию.—Я предлагаю принять его к нам в артель, так как он есть бедняк и стремится к новой жизни... к укреплению хозяйства.

Все молчали. Члены новоявленной артели не знали, что делать, что говорить: Ипат Агапеич обескуражил их своим неожиданным заявлением. Они не понимали его, не знали, чего он хочет добиться этим, и растерянно переглядывались.

Возражать Ипату Агапеичу никто не решился, и при молчаливом согласии собрания Еремей Тихоныч был принят в члены артели.

4

Спустя час в ограде Елизара Парфеныча было уже пусто. Только в садике, у раскрытого окна, на скамейке сидели Архипка и братья Зенковы, да под поветкой, где проходило собрание, заседало правление новой артели: Ипат Агапеич, Кузьма Егорыч, Елизар Парфеныч, Ермолай Ивойлыч и Алексей Мироныч.

По ограде, отыскивая в пыли зерна, важно расхаживали голуби, легкий ветерок перебрасывал с места на место обрывки газет. В горнице кто-то пустил граммофон, и оттуда на улицу вырвались последние слова „Варяга“.

— Вот теперь и мы по местам!—усмехнувшись, сказал Ипат Агапеич.—Теперь побороться можно. Кто кого!

Ипат Агапеич —он был избран председателем артели—свернул в трубочку тетрадку, куда были вписаны протоколы, и осторожно сунул ее в потайной карман пиджака. Члены правления встали из-за стола и пошли к садику—теперь можно было послушать и музыку.

Иван Зенков подошел к окну и крикнул в горницу:

— Дарья, заведи-ка там что-нибудь погромче!

— А чего завести? Цыганский романс будете слушать?

— Давай и романс, если громко орет.

В окне зашевелились кусты герани, и после короткой стрельбы и хрипа, вырвавшихся из трубы граммофона, сильный женский голос запел:

Мой косте-ер в тумане све-етит,
Искры га-аснут на-а лету.

У ворот ограды кривлялась Елизара Парфеныча сестра Фекла-дурочка. Она рылась в земле, издавая какие-то непонятные возгласы, и то и дело плевалась, скаля сквозь рассечину заячьей верхней губы кривые желтые зубы. Вдруг она громко взвизгнула, вскочила на ноги и побежала к мужикам.

— Ипатка! Гы-гы-гы... Ипатка? Деревенские парни идут. Они зачем?.. Драться?..

Ипат Агапеич сердито оттолкнул от себя Феклу, она упала. Но сразу же опять вскочила, схватила горсть земли и, бросив ее в лицо Ипату Агапенчу, захохотав, убежала.

Ипат Агапеич плюнул ей вслед, смахнул с пиджака пыль.

От попереченского моста шли межовские парни. Ипат Агапеич узнал среди них своего крестника—Леонова Еремку.

— Ну, вот, мужики, как раз и успели,—сказал он, поднимая с земли прутик и сдирая с него вялую кору.—Глядите, разведка идет. Комсомольцы. Куда это они?

Мужики прошли к пряслу и облокотились на него.

— Как живете, хуторские бары?—еще издали крикнул Еремка.—Что это у вас здесь—собрание было?

— А ты что так, вроде с насмешкой?—ответил ему с укором Кузьма Егорыч, —Не смейся.

— А я и не смеюсь, дядя Кузьма. Это, должно, в глазах тебе померещилось. Ты бы протер их.

— Боек! Боек на язык, крестник!—упрекнул Еремку Ипат Агапеич.—Уважение к старикам, совесть совсем потерял!

— Ах, будь ты, а я и не хватился об этом!—рассмеялся Еремка. С Ипатом Агапеичем он был давно не в дружбе и при каждом удобном случае норовил ему чем-нибудь насолить.—Потерял, крестный! Не дашь ли взаймы немного?

— Тьфу, аспид!

— Табак, что ли, на язык попал?—рассмеялся Мефодий Степанов.—А ты бы, Ипат Агапеич, лучше домой скорее шел, там тебя Пыжик дожидается. Насчет Буланки с тобой поговорить хочет.

— Чего ты мелешь!—вспылил Ипат Агапеич и даже выронил из рук прутик.—Зачем придет Пыжик?!

— Тебе лучше знать—зачем. На днях, сказывают, ты Буланку его в пруду утопил. Так он теперь с тобой, кажется, рассчитаться за него хочет.

— Кто врет? У меня свидетель есть! Он сам в пруд забрался... Зачем такие шутки!..

— А я и не шучу,—иронически заметил Еремка.—Как раз свидетель и рассказывал об этом. Работник твой—Митька.

— Врет он, врет!—побагровел вдруг Ипат Агапеич, и губы его нервно задержались.—Ему никто не поверит, это он со зла на меня!..

— Конечно. За то, что ты рассчитал его,—уколол Мефодий.—Ну, пошли ребята.

Леонов Еремка крикнул младшему Зенкову:

— Иван, закажи-ка там погребальный марш!

— А кого отпевать—тебя, что ли?—рассмеялся Зенков.

— Зачем меня—Лунин дол!

— А не рано ли?—связвил Зенков.

— В самый какраз!

— Смотрите, в потраву не попадитесь! Знаешь, за это—штраф!

— Ничего, скоро самих вытравим!

Ребята громко рассмеялись.

Граммофон давно уже окончил цыганский романс и теперь, забытый всеми, сопя и стреляя, вертел пластинку на одной борозде.

„КРАСНЫЙ ПАХАРЬ“

1

Заранее продуманный план Ипата Агапеича вступал в действие. Дело с оформлением артели продвигалось хотя и не так скоро, как хотелось Ипату Агапеичу (шел уже третий месяц), но тем не менее гладко, без каких-либо особенных за-

труднений. Большую помощь в этом деле Ипату Агапеичу оказал старший агроном райземотдела Стружечкин, которому, правда, пришлось все же накануне рассмотрения устава отвезти в город тушку барана и бадейку свежего меда: как говорится, дело важное, а сухая ложка—рот дерет!

Агроном Стружечкин, маленький и пухленький, с румяным лицом и светлыми, как переспелые колоски, русыми усиками, лет тридцати пяти мужчина, оказался действительно человеком знающим и покладистым. Он не заставил долго себя упрямить, сам помог Ипату Агапеичу отработать устав, в котором постарался предусмотреть все, на что претендовал в первую очередь сам председатель артели—сохранить за хутором полностью Лунин дол,—и продвинул его по всем инстанциям.

— Вот так, старик, теперь твои дела в шляпе!—заверил его Стружечкин, вручая ему устав и незаметно прикрывая пресс-папье нечаянно оброненную Ипатом Агапеичем на стол голубенькую бумажку. Все пойдет, как по маслу!

И действительно все пошло, „как по маслу“. За несколько дней до покровы—это была последняя по делам артели поездка в Онкой—Ипату Агапеичу удалось наконец попасть на прием и к самому председателю райисполкома.

Председатель райисполкома, человек занятый и вечно усталый, не отказал ему, принял ласково, даже угостил папиросой (пришлось морщиться, а дым все же пускать!), наспех просмотрел устав, одобрил, поставил поверх подписи старшего агронома свою подпись, печать и пожелал успехов.

— Работайте, товарищи, на благо новой жизни! Укрепляйте социализм!

— Спасибо! Постараемся!—заверил Ипат Агапеич, пряча в усах довольную ухмылку.

В этот же день вопрос был рассмотрен и на заседании земельной комиссии. Заседание вел сам Стружечкин. Со стороны членов комиссии возражений тоже не встретилось, и поперечинская артель с подробным перечислением всего инвентаря и описанием земельных угодий была занесена в реестр коллективных хозяйств Онкойского района под названием „Красный пахарь“.

— Будь здоров, старина! Не забывай друзей!—напутствовал Ипата Агапеича Стружечкин, довольный тем, что совершил благое дело. Потребуется помощь—обращайся. Всегда к твоим услугам.

Ипат Агапеич пожал Стружечкину мягкую руку, простился.

2

Выйдя из райземотдела, Ипат Агапеич долго стоял на крыльце, рассматривая бумаги, потом аккуратно уложил их в карман и, усмехнувшись в курчавую бороду, облегченно вздохнул.

Ну, вот и все! Теперь наши дела в порядке! Попробуй-ка кто, сушь палец в рот всю руку оттяпаю!

И громко рассмеялся.

Перед тем как выехать домой, Ипат Агапеич сходил еще в культмаг. Надо было купить знамя. Знамя он выбирал долго, не торопясь, тщательно рассматривая каждый рубчик, каждую ниточку. В нем он хотел видеть не только прочность и красоту материи—это, конечно, само собой!—и не только символ, что, безусловно, тоже важно; но прежде всего—силу свою, торжество победы своей над Волгиным: вот, мол, Самойла Ильич, и последний гвоздик крепко вколочен!

Домой возвращался радостный, окрыленный успехом, большими надеждами. За все эти дни, пока ездил в Онкой, Ипат Агапеич сильно истомился, устал, и теперь впервые, казалось, по-настоящему он ощутил на сердце радужное успокоение.

Стоял ясный солнечный день. Небо, с утра еще покрытое тучами—всю эту ночь шел дождь,—снова очистилось, и солнце, обогрев землю, весело играло яркими, по-осеннему нежными лучами. Ипат Агапеич блаженно восседал в коробке.

Гнедой жеребец, полукровка, помахивая головой, бежал непринужденно — ровной, свободной рысцей. Ходок постукивал и покачивался в неровных колевицах, где-то в задке, под коробком, побрякивала ослабленная железка, ее монотонное дребезжание убаюкивало Ипата Агапеича. Чтобы не дремать, он часто вскидывал голову, то и дело понукал коня, смотрел по сторонам — и сон проходил.

Ипат Агапеич ехал по малонаезженной, заросшей конотопом и мелкой дернистой щучкой дороге. Дорога шла среди леса, в распадках гор. Кругом было все знакомо. Мирные картины родных мест волновали Ипата Агапеича. Сентябрь подходил к концу, и осень всюду напоминала о себе. Трава на вершинах хребтов начинала желтеть; на утесах среди изумруда вечно молодых елей и пихт багрово-редел переспевший бадан; темно-зеленый ковер леса теперь был расцвечен бордово-красными пятнами рано умирающих листьев осинника и ярко-золотистыми узорами берез, тронутых дыханием осени, все это придавало горам празднично-нарядный вид. По обеим сторонам дороги, в широких распадках, в трепете марева колыбалась трава, кое-где побуревшая, но еще живая, усеянная бесчисленным множеством осенних луговых цветов. В глазах бесконечно рябили то бледно-желтые зонтики кашек, то темно-голубые шалки мухомора, то яркооранжевые поля огоньков, распутившихся второй раз в этом году, и много других — белых, коричневых, красных цветов, не успевших еще потерять своего аромата и свежести красок, — и все это вместе источало какие-то терпкие запахи, вливалось в грудь и, точно душистая медовуха, пьянило и будоражило сердце Ипата Агапеича.

Эх, не цветы ли в по-оле да не цвето-очки-и,
Ах, да не цвето-очки в поле позавя-яли, —

занел Ипат Агапеич. Его сильный грудной голос далеко отдавался в горах. Песня радовала его, и все, что окружало, казалось ему теперь еще более близким, родным и понятным с самого детства...

Ипат Агапеич пел и от удовольствия закрывал глаза, казалось, вслушиваясь в то, что изливала песня.

...ах та позавяла молодость моя-я-я...

Но эти грустные слова совсем не печалили Ипата Агапеича: в груди у него все кипело и молодостью отзывалось на сердце.

Ипат Агапеич перестал петь. В голове роились мысли. Ипат Агапеич не мог сдерживать радости: чувства переполнили его, рвались на волю, и он, по привычке думать и мыслить вслух, начал рассуждать с конем:

— Эх, Соколик, ничего-то ты не знаешь! Едем мы с тобой домой и радуемся. А почему?.. Да потому, дружок, что везем мы нашим мужикам большую радость! Бумажку везем. Маленькую бумажку везем, а в ней сила... Понимаешь, Соколик — сила! Победа!.. Самошка хотел подрезать нам крылья... да — фик! Ничего не выйдет у него — зелен! Лунинский корень глубоко врос в землю, не вырвать его... Никому не вырвать! Это ты знай, Соколик... Вот, брат, какие дела! Понимаешь? Нет! Ха-ха-ха!..

Раскатистый басок Ипата Агапеича взмыл в воздух и разорвал тишину гор.

А мысли все роились, росли и цеплялись одна за другую. Обуреваемый ими, Ипат Агапеич даже не заметил, как конь перешел на шаг. Гнедко, вывернув из колен, легкой поступью шел обочиной, изредка натягивая вожжи и пощипывая траву. Ипат Агапеич не принуждал его. Он весь был сосредоточен в мыслях. Вдруг явилось желание еще раз взглянуть на попку. Он достал из-под сиденья сверток, развернул его, и алое полотно шелка, ярко вспыхнув на солнце, ослепило ему глаза. Он от удовольствия зажмурился. И тут же представил себе, как этой

осенью их новая артель организует красный обоз с хлебом, как над ним разовьется это алое знамя, как этот обоз пройдет по Межовке, как будет ему... Да мало ли что еще будет!..

Ипат Агапеич смял в руках знамя, прижал его к груди: в голове родилась новая мысль—дерзкая и коварная: сейчас поразить новоселов.

Он остановил коня, выпрыгнул из коробка и, разминая ноги, побежал в придорожный лесок. Оттуда вышел степенно, держа в руках срезанную молодую пихтинку.

— Что, брат, не знаешь зачем?—заговорил он снова с Гнедком.—Ладно, молчи!.. Кто кого! Вот в чем, Соколик, дело... Ну-ка, пошли!

Ипат Агапеич тряхнул вожжами, и конь, резко вскочив в колею, пошел сильной, напористой рысью...

А вечером навстречу закатному солнцу, туго натянув вожжи и высоко вскинув голову, Ипат Агапеич всей силой горячего полукровного рысака промчался по улице Межовки.

Над ним в воздухе красным крылом трепетало знамя.

3

В середине октября в Межовку прибыл землеустроитель. Самойла Волгин давно ожидал его, несколько раз писал в райисполком, но земельный отдел каждый раз отвечал одно и то же: нет человека.

И вот, наконец, он приехал.

Самойла Ильич был на дворе правления колхоза и собирался ехать на Синюху, где должны были этой осенью поднимать пары, как в ограду въехал на тощем кауrom коне молоденький паренек, с чумазым, курносым лицом и сумкой через плечо.

— Кто здесь будет председатель колхоза „Рассвет“?—спросил он, не слезая с коня. Конь потянул к телеге, на которой лежала охапка сена.—Я землеустроитель.—Он слез с коня и пустил его к сену.

Волгин поздоровался. Они прошли в пустой амбар Дементия Феокистыча, служивший правлением колхоза.

Паренек—Иван Зотов—сразу же приступил к делу: он был очень занят, его ждали во многих местах.

— Всего в Межовке сто сорок три двора, триста семьдесят гектар земли. В вашей артели двадцать семь дворов. Вам полагается восемьдесят гектар, кроме покоса. Где думаете брать?—на память перечислил он все данные и разложил на столе план межовских угодий.—И попрошу сегодня же выделить мне в комиссию людей—тороплюсь!

Самойла Ильич пожал плечами—не понимаю! Спросил:

— А разве в Лунином доле земли не будет? Вот решение,—он вынул из ящичка лист бумаги и подал Зотову.

Зотов посмотрел, усмехнулся: насчет Лунина дола ему были даны другие указания—поделить его между артелью „Красный пахарь“ и оставшимися на хуторе дватью единоличниками.

— Но ведь у нас решение райисполкома?—возмутился Волгин.

— Ничего не знаю. У меня такие указания. Подчиняюсь последнему решению.

— А где такое решение?—спросил Волгин.

— В „Красном пахаре“.

— Здесь какое-то недоразумение.

— Никаких недоразумений нет. Все в законе. Не верите—давайте проверим.

Самойла Ильич подседлал коня, и они поехали на хутор.

На месте выяснилось, что артель „Красный пахарь“ имеет свой устав и решение райисполкома о закреплении за ней угодий Лунина дола. Документы за-

конные, придаться не к чему, и Зотов вторично попросил ускорить дело с нарезкой земли, так как ему нужно через день выехать в Предгорное.

— А если не хотите, дело ваше,—заявил он.—Принуждать вас я не в силах. Да и зачем же? Ну, как?

Самойла Ильич глянул на Ипата Агапеича, усмехнулся. Тот сидел напротив него, за столом, и, тоже усмехаясь, поглаживал ладонью колено.

— Что, племянничек, сорвалось? Вот тебе и закон! А ты думаешь, что же оно—закон-то? Закон—жизнь, понимать его надо.

— Ничего, посмотрим! Сумеем, наверное, разобраться в законах. Время покажет, кто прав—ты или мы.

В старом доме Ипата Агапеича, где происходил этот разговор, кроме Ивана Зотова и их, никого не было. Ипат Агапеич подтянул кверху за ушки голенища яловых сапог, встал.

— Что ж, оно, пожалуй, смотри,—ухмыльнулся он в бороду.—Смотреть никому не заказано.—И съязвил:—Куренок вот тоже смотрел, да его коршун съел!

— Я не цыпленок.

— И я, Самойла Ильич, не хочу коршуном быть,—резко изменив тон, сказал Ипат Агапеич.—Не хочу скандалить.

— Ой, ли!

— Всурьёз!—пристально глянул в лицо Волгина Ипат Агапеич.—Лунины дол был Луниных, у них и останется. Корни Луниных в него вросли крепко. Не стоит тебе говорить об этом. Ты сам наполовину Лунин.

— Не спорю.

— И не надо. Я давно собираюсь поговорить с тобой как следует о деле. Не знаю, как поймешь меня. А только вот что. Бросил бы ты своих новоселов и к нам.

— Это правда?

Ипат Агапеич кивнул головой. Волгин молчал. Зотов закурил, надел на плечо сумку, хотел выйти, но раздумал и снова сел на лавку—разговор интересный!

— Что ж, подумаю,—сказал Волгин, а в душе выругался: „Хитер, поллец! Знает, откуда ветром дует!“ И добавил:—Жила-была галка в лесу. Никакой нужды не знала. Встретила ее змея и говорит: „Давай дружить: ты днем промышлять можешь, а я—ночью. У нас всегда все будет“. Обрадовалась галка: вместе лучше! И согласилась. Охотилась она день и про змею не забывала: то червечка принесет, то птичку, то кузнечика. Змея лежала на солнышке и щурила глазки—хорошо! Наступила ночь. Надо ей идти. Только пошевелилась она, и пробудилась в ней гадючья зависть. „Зачем далеко ползать—рядом галка на суку дремлет. Проглочу—мне надолго хватит.“ И проглотила. Да и тут же сама в беду попала: перевернулась на спину и не может ползти: галка мешает. Шел мимо человек. Видит: что-то шевелится в траве. Глянул—змея. Наступил и раздавил ее вместе с галкой.

Зотов фыркнул, не удержался—захохотал. Ипат Агапеич побледнел, но сдержался. Спросил:

— Ты это к чему такую побасенку?

— Так, вспомнил случайно. Старик один рассказывал.—Усмехнулся Волгин.

— Я не змея!—крикнул Ипат Агапеич.

— А я не галка!—вскочил на ноги Волгин.—Не сойтись нам на этом. Много ты нашим мужикам под шкуру соли всыпал!

— Плакать не буду! Но запомни: ты зелен, чтобы бороться со мной! Мало жизни видел! Как говорят: старое дерево скрипит, да стоит, а молодое и ветерок клонит!..

— Бывает и наоборот. Ураган молодое щадит, а старое—с корнем валит!

Ипат Агапеич выбежал на улицу.

Волгин дрожащей рукой пытался застегнуть шинель, но крючки не подчинялись

ему. Он был потрясен наглостью Ипата Агапеича, в глазах у него горел гнев. Зотов, словно пригвожденный к месту, сидел на лавке и растерянно, но уважительно смотрел на Волгина.

— Я вас понимаю... Вы правы... Это же... это, — заикаясь от волнения, просто-душно признался Зотов и, сердито бросив под ноги измятую в пальцах папироску, быстро встал. — В райкоме, наверное, не знают всего. Я постараюсь доложить секретарю, товарищу Карпову...

— Значит, понял? — гася в глазах гнев, грустно усмехнулся Волгин. — Это хорошо. А мы вот давно понимаем все это, да никак осилить не можем. Но ничего, злее будем!..

Они вместе вышли на улицу.

4

На другой день Волгин выехал в Онкой.

Жалобу разбирали на исполкоме райсовета. На заседание были приглашены работники райземотдела, в том числе и агроном Стружечкин. В заявлении Волгин указывал: поперечинская артель по природе своей — кулацкая; она вредительски использует земельный фонд; бывшие хуторские кулаки сознательно подрывают мощь межовской артели, а районное руководство не замечает этого и потворствует им... И как только это заявление было объявлено членам исполкома, Стружечкин сразу обрушился на Волгина:

— Это клевета! — крикнул он, вскакивая с места. — Беспринципная склока! Огульное обвинение!.. — Острые глазки Стружечкина забежали по кабинету, и он, чтобы сбить с толку членов исполкома и настроить их против Волгина, тут же пустился в пространные рассуждения. Все доводы Волгина, выдвигаемые против хуторян, он попытался представить как доводы, лишённые всякой политической и деловой основы. Все это клевета! Действительно, как же это? Артель „Красный пахарь“ организовалась по собственной инициативе. Это образец сознательного укрепления колхозного строя! Артель имеет свои устав, земельные наделы, утвержденные райисполкомом. Она молодая еще, но сильная — состоит из крепких середняков. В ней есть и бедняки — такие, например, как Еремей Тихонович и Лукерья Лунины. Люди настроены работать и работают честно. Их красный обоз первым пришел на элеватор. И вот эти люди — по мнению Волгина — оказываются, используют вредительски земельный фонд! Подрывают мощь межовской артели „Рассвет“! Где тут правда?

— Смешно говорить об этом, товарищи! — Острые мышинные глазки Стружечкина быстро оббежали членов исполкома и уперлись в Волгина. — Досадно, но факт! „Красный пахарь“ заканчивает уже план вспашки зяби. Он полностью и досрочно рассчитался по хлебозаготовкам. А ваш колхоз? — ядовито усмехнулся Стружечкин, и колкие глазки его снова вцепились в Волгина. — А ваш „Рассвет“ и по сей день остается должником перед государством. Как это позволите понимать? Смешно получается с вашей жалобой, товарищ Волгин. Позор! Стыд!..

— Стыдно должно быть не нам, а тем, кто доводит нас до этого, — стараясь быть спокойным, заметил Волгин. — Создайте условия — и мы должниками не будем!

По кабинету прошел легкий шумок, кто-то бросил насмешку:

— Кому что, а кому — обедня! Нельзя же валить всю вину с больной головы на здоровую! Надо самим работать.

— Вот именно! — подхватил Стружечкин. — Два колхоза — и два порядка! Одни работают, а другие в пахлебники просятся! А в чем же дело? — обвел он взглядом членов исполкома, как бы спрашивая их — знаете ли? — и сам ответил: — В склоке! В зависти и семейных дразгах! Да, да, в семейных дразгах!.. Как же получается? Два председателя — племянник и дядя — не ладили в чем-то между собою, поругались дома, а колхоз отвечай! А кому это на руку? Кому от этого выгода? Государству?

Людям? Конечно же, нет. Как говорят: паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Склока—вот в чем дело! И затеял ее сам Волгин. Приходится только удивляться. Как же это так? Такой серьезный человек секретарь партийной организации, и вдруг... Такое заявление! Это же клевета на целый колхоз! Безобразие! Я предлагаю исполкому снять с обсуждения жалобу Волгина и указать ему на несерьезное поведение...

Самойлу Ильича взорвало.

— А не с лишком ли строгий приговор?—язвительно заметил он Стружечкину.—Склока! Клевета! Громко сказано. Но мне думается, надо уметь отличать, где правда, а где клевета. Мое личное благополучие меня меньше всего волнует. Но я председатель, и я обязан отстаивать интересы колхоза. И я отстаиваю их. А если говорить о клевете, то не вернее ли будет сказать, что клеветешь ты, товарищ Стружечкин...

— Это как же?!—вскочил Стружечкин, побагровев.—Это в чем же?

— А в том. Кто незаконно лишил межевский колхоз пахотных угодий? Ты. Разве это не известно нам? Лунин дол—исконная межевская земля...

— Это клевета! Это оскорбление! Я прошу зафиксировать в протоколе. Вот!—выхватил Стружечкин из папки несколько листов бумаги и стал раздавать их членам исполкома.—Убедитесь сами, товарищи.—Глазки его снова беспокойно забегали по кабинету.—Это официальные документы, которые утверждают, что Лунин дол принадлежит „Красному пахарю“, а не Межевке. Межевские крестьяне им никогда не пользовались...

— А почему?—перебил Стружечкина Волгин.

— Это меня не интересует.

Волгин желчно усмехнулся, промолчал. Стружечкин сел в кресло, пухлые пальцы его нервно забарабанили по раскрытой папке.

В кабинете было тихо, лишь только шуршала бумага в руках членов исполкома. Все были заняты просмотром документов, представленных Стружечкиным. Председатель исполкома выждал немного, потом спросил:

Ну, как, товарищи, какие будут предложения?

Все промолчали. Стружечкин заерзал в кресле, затем встал и хотел было снова заговорить, но председатель предупредил его.

— погоди, не горячись!—сказал он и, подождав немного, глянул на Волгина.—Что ж, товарищ Волгин, придется, видимо, отказать в твоей просьбе. Как видишь, документы не в твою пользу. Будут другие соображения?

Члены исполкома молча согласились с ним.

Волгин встал, взял со стола портфель и удалился с заседания.

5

Волгин не хотел сдаваться. Сразу же по приезде из Онкоя он послал жалобу в облисполком. Однако и там его не ожидала удача. Жалоба ходила целую зиму и только весной, после вторичного запроса, оттуда пришел отказ. А между тем подрывная деятельность хуторян продолжалась. За одну лишь зиму „Красный пахарь“ сократил крупное поголовье почти наполовину. Весенняя посевная, только что закончившаяся в „Красном пахаре“, тоже показала, что колхозный клин, в сравнении с прошлым индивидуальным посевом, также намного сократился. Не теряя надежды на успех, Волгин собрал подробный материал о деятельности хуторян и решил сам выехать в область.

Но выехать Волгину не пришлось: новые события опередили его. Артель „Красный пахарь“ сама разоблачила себя.

А случилось это так.

В Межовке стало известно, что Крутогорская область не выполнила плана хлебозаготовок. В Онкойский район было спущено дополнительное задание. Ипату Агапеичу не хотелось верить в эти нелепые слухи, но—что поделаешь!—жизнь учит быть осторожным, и он решил сам разузнать подробности.

Кольцевая почта в Межовку приходила два раза в неделю. Сегодня был как раз ее день. В ожидании Луки Андреича, старого своего приятеля, районного почтовика, Ипат Агапеич истомился. Время тянулось мучительно медленно. Он несколько раз выходил за хутор, прикладывая ко лбу волосатую руку, всматриваясь вдаль, но, кроме зеленых кустов на лугах Лунина дола и одиноких пихт, ничего там не видел: не появлялась из лесу приметная серая пара и не слышался знакомый перезвон колокольчиков.

День стоял ясный, жаркий. Над головою звенели жаворонки. Ипат Агапеич поднялся на взгорье, посмотрел еще раз на дорогу и, не увидев ничего там, чтобы скоротать побыстрее время, пошел в пасеку. Молодое разнотравье, высоко взмывавшее в тени кустов, пахнуло в лицо крепким запахом цветов и тлена. Ипат Агапеич прошел в глубь пасеки и оказался у омшаника. Кругом рос бурьян. Темные кусты репейника распустили широкие листья; прямые стволы дягеля возвышались над травой, раскинув по сторонам сочные зеленые лапки; густая повилика обвивала их, тянувшись кверху, выставляя на солнце свои ярко-желтые и голубые сережки. Ипат Агапеич сорвал широкий лист репейника, отер им с лица пот и пошел в омшаник.

В омшанике Ипат Агапеич не бывал с самой весны, как выставил на колодки пчел, и теперь он показался ему каким-то особенно мрачным, заброшенным. Сквозь оконце, задернутое паутиной, на земляной пол падала узенькая полоска мутноватого света. Ипат Агапеич долго стоял задумавшись. Затем он зачем-то ощупал потолок, стены, разгреб ногой на полу солому и вышел, распахнув настежь двери.

На пасеке Ипат Агапеич пробыл недолго. Посмотрел несколько ульев—пчелы работали хорошо. На обратном пути он зашел на клеверные поля. Клевер и медунка уже распустились. В воздухе стоял их крепкий аромат. Всюду над цветами сновали пчелы. Их монотонное гудение звенящими ручейками вливалось в уши и наполняло радостью сердце. Но что-то неясное тревожило Ипата Агапеича.

Заложив за спину руки, Ипат Агапеич неторопливо шел вдоль клеверного поля по слежалому чернозему, нарочно ступая так, чтобы можно было крепче чувствовать под ногою добротность земли.

— Вишь ведь какая—ядреная!—сказал он и, не утерпев, вывернул вместе с кустом горсть чернозема.—Творог! Хлеб! Тысячи пудов!—И грустно усмехнулся:— „А зачем все это? Для них?.. Все возьмут и спасибо не скажут!“

— Нет!—с ожесточением швырнул он землю.—Подавитесь этой землей!..

Обида комком подступила к горлу, сжала спазмы, и Ипат Агапеич почувствовал, как под самым сердцем что-то отдалось и защемило нытьем. Живя в вечном водовороте тяжелых дум, он за последнее время разучился понимать радость. Угнетала и томила больше тоска. Все это—необычное, временное, что несла с собой жизнь,—страшило его, и суতোлка заглушала в памяти счастье прожитого, вызывала и разжигала ненависть.

Ипат Агапеич вскинул над головой кулак и, сам не зная кому, погрозил:

— Нет, врете, врете! Вернется еще мое время! Я поживу!..

Далеко в лесу послышался малиновый звон колокольчиков. Ипат Агапеич словно очнулся. Торопливо оглядевшись вокруг—не видел ли кто, он быстро пошел к дому.

...Пара взмыленных лошадей рысцой вбежала в хутор. Ипат Агапеич широко распахнул ворота.

— Доброго здоровья, Лука Андреич! Эх, ведь как разморило тебя, растопиться можно. Милости прошу—в холодок!

Коренной свернул с дороги, и кони, помахивая головами, вошли в ограду. Лу-

ка Андреич, не молодой, но еще полон сил и ловкий мужик, молодцевато выпрыгнул из коробка и, разминая затекшие ноги, заметил:

— Да, жара, прямо надо сказать, подходящая! — усмехнулся он, пожимая дружку руку. — Но у вас здесь, кстати сказать, дорога меньше наезжена, не пылит.

— А кому же к нам ездить? Городские редко бывают, сами тоже в город неохочи. — Ипат Агапеич выхватил из коробка свежей травы и бросил на предамбарье, в холодильник. Потом заглянул в погребок, крикнул: — Акулина, нацеди-ка нам с гостеньком маленько!

Вскоре Ипат Агапеич с Лукой Андреичем сидели уже под поветкой и, прикладываясь к жбану с прохладной медовухой, вели задушевную беседу.

— Вот я и говорю, Агапеич, коммерцию надо с умом держать, — наставительно говорил почтовик. — Сейчас приберечь, а в петровки или чуть позднее — в степь махнуть. С руками хлеб вырвут.

— Это верно, придержать бы надо, да как? — засомневался Ипат Агапеич. — Страшно. Долгоносик у нас амбарный завелся, — лукаво усмехнулся он в бороду. — Правда, нас пока еще бог от этого миловал, но как знать.

— А вы с умом делайте.

— Да ведь и они не дураки. Тоже ум — государством правят!

— Ага! — воскликнул Лука Андреич, ткнув в поветь пальцем. — И я о том же. Хитрить надо — кто кого, значит! Я, конечно, не в колхозе. В теперешнюю пору с умом жить надо. Слух хороший да глаз острый иметь. Вот, скажем, почту гоняю я. Почему? Тоже выгода: все вижу, все знаю. Бывает, еще само начальство не знает, а мне уже все известно. Вот и к вам сегодня тоже с новостью...

— Сколько? — не выдержав, спросил в упор Ипат Агапеич.

— Поперечному хутору — полторы тысячи!

— Вот это да! — привстав с табуретки, стукнул по столу Ипат Агапеич. — Вот это здорово! Задача!

Лука Андреич рассмеялся, достал из кармана помятую газетку и протянул Ипату Агапеичу.

— На-ка, возьми. Прочитай с умом. Тут обо всем сказано.

Говорить Ипату Агапеичу больше не хотелось — полторы тысячи! У него ко всему пропал интерес. Но газетку он все же взял и спрятал в карман — может, и впрямь пригодится.

Остаток этого дня Ипат Агапеич провел в тяжелых размышлениях. Тревожно ныло сердце, тоска подтачивала спокойствие. Поздно вечером, когда все легли спать, он тихо встал, сунул ноги в пимы и вышел на улицу.

Над хутором стояла гулкая тишина. Ипат Агапеич прислушался. Где-то за речкой однообразно пилил дергач. В огороде совсем рядом громко ударил перепел:

— Путь-пуви! Путь-пуви!

Ипату Агапеичу послышалось, что перепел дразнит его: „Пуд-пуды! Пуд-пуды!“ Он вскинул над головой кулак и громко выругался: — Хрен вам, а не пуды!

Архипка с Даркой спали под поветью на подвешенных к жердям новых дрожках. Ипат Агапеич неслышно прошел туда, нащупал в потьмах голову Архипки.

— Куда это ночью, тятя? — с неохотой вылез из-под одеяла Архипка.

— Много будешь знать — скоро состаришься! Собирайся.

Они вышли за ворота и направились к пасеке. Ипат Агапеич шагал быстро, словно кого догонял. Архипка еле поспевал за ним. Он все еще не понимал, куда они идут и зачем. Но вот и пасека. Вот и омшаник. Пахло мышами, прелой соломой и воском. Ипат Агапеич зажег фонарь, и в нем, точно красная бабочка, забился маленький язычок огня.

Ипат Агапеич взял в руки лопату, разгреб на полу солому и крепко надавил на заступ.

— Ну, с богом! Копай, Архипка!

За дверями стояла теплая июньская ночь, в небе мерцали яркие звезды. Где-то по-прежнему близко несмолкаемо пилил дергач.

О Г О Н Ь К И

1

Как ни обременительно было Мефодьке каждый вечер ходить из деревни на хутор, но молодость не считалась ни с чем: там ведь жила Лунина Ольга, мало заметная среди хуторских девчат, но зато, как казалось ему, самая красивая среди своих одноклассников, скромная голубоглазая девушка, тонкая и стройная, как молодая пихтинка, — его любовь. Любовь! Что может быть сильнее ее! И Мефодька всегда находил время, чтобы встречаться с Ольгой. Разве только иногда, когда задерживала неотложная комсомольская работа, он не ходил на хутор и не встречался с ней, или по строгости матери, которая не одобряла их дружбы, приходилось иногда часами блуждать вокруг ее дома и потом, так и не встретившись, ни с чем уходить домой, — но это бывало редко. А когда бывало, они оба не обижались на это, так как знали, что в другой раз, когда встретятся снова, они с избытком отгуляют это утраченное время.

Вот и сегодня, закончив в поле работу, Мефодька, прежде чем идти домой, завернул на хутор. Стоял теплый июньский вечер. Далеко над горами таял и исчезал последний румянец зари. В небе, чистом и ясном, вспыхивая, как искры, зажигались звезды; от реки начинало тянуть чуть заметной прохладой. Кругом так тихо, свежо, и на душе так легко и ясно.

Мефодька торопливо сбежал с пригорка на мост и вдруг остановился: на другой стороне речки раздвинулись кусты, и на берег вышла Ольга.

— Ты куда это? — растерявшись от неожиданности, удивленно спросил Мефодька и почувствовал, как что-то откликнулось в груди — не то радостное, не то тревожное: он не ожидал ее встретить здесь так поздно, одну. — Уходишь куда?..

— Нет. Тебя жду, — улыбнулась смущенно Ольга, опуская на землю корзинку, полную фиалок и огоньков. — Не пойдем сегодня на хутор, здесь побудем. Опять поругались с мамкой... Из-за тебя, — все так же смущенно добавила она.

Они спустились вниз, прошли кустами вдоль речки и на открытой полянке сели на берегу. Ольга молчала, Мефодька закурил. Рядом, в кустах, одиноко и грустно прокричала иволга и смолкла. Мефодька положил на плечо Ольге руку, заглянул ей в глаза — они светились, как искорки, излучая любовь и преданность. Мефодька улыбнулся, обнял Ольгу и поцеловал ее сначала в губы, потом в глаза.

— Как поругались-то, расскажи?

— Ну, как — поругались, и все! — как-то нехотя ответила Ольга. — Просто не велела долго по вечерам ходить... Тобой попрекала.

— Не правлюсь я ей?

— Ну, вот — пристал! Не знаю, — смущенно отмахнулась Ольга и прижалась щекой к Мефодьке. — Просто так... Сам знаешь...

— Новосел — и кержачка! — рассмеялся Мефодька, — Ох, эти кержаки! Испросила — А ты уж и струсила?

— Кабы струсила, не пришла.

— Ну, и что же теперь?

— Ничего. Домой пойду.

— А я?

— А ты?.. — Ольга виновато улыбнулась. — А ты — тоже домой...

Но расставаться не хотелось. Ольга еще сильнее прижалась к Мефодьке, и они, обнявшись, долго сидели так на берегу, ни о чем больше не говоря, но чувствуя на сердце что-то такое, от чего становилось и радостно и тоскливо. Мефодька держал в свободной руке огонек, обрывал губами яркие лепестки и, точно обжигаясь ими, сплевывал в речку. Вода тут же подхватывала их и, легко кружа, быстро уносила вниз, — они исчезали, словно гасли.

— Эх, Оленька! И до чего же бывает смешно в жизни! — словно продолжая вслух думать, огорченно вздохнул Мефодька. И вдруг, как бы сгоняя с себя усталость, он весь встрепенулся, откинул в сторону оголенный стебелек цветка и быстро встал. — Давай! — подниму! Провожу хоть немного...

Он взял Ольгу и легко поднял на ноги. Ольга прижалась к нему и, ощутив на лице его дыхание, вскинула голову, вся потянулась к нему; они обнялись, и Ольга крепко поцеловала Мефодьку.

— Ты не сердись. Это же не часто бывает... Ну, подождем.

Мефодька ничего не сказал. Он взял Ольгину корзинку с огоньками, и они пошли... но не домой, а как-то произвольно, не замечая того, стали подниматься в гору. Они шли тихо, молча. И так незаметно поднялись на утес. Ночь стояла гулкая. В небе горели звезды. Где-то внизу, на скате реки, чуть слышно плескалась вода. Вот гулко в камнях утеса прокричали галки, должно быть потревоженные совой. Мефодька стоял, обняв Ольгу за плечи. Ольга смотрела куда-то вдаль. Вдруг она резко оторвалась от Мефодьки и вскинула руку.

— Гляди-ка, Мефодь, какой огонек!.. Вон видишь — в лесу. Как красиво!..

Одинокий огонек на фоне мутных очертаний гор действительно был красив. Мефодька заметил его еще раньше, но почему-то вначале не придавал этому значения, а теперь, когда Ольга так восторженно отозвалась о нем, огонек показался ему красивым, но в то же время и чем-то странным. „Где бы это могло быть? — подумал он и тут же решил: — В пасеке Ипата Агапеича“.

— Ну, да — там! — громко сказал вслух.

— Где — там? — спросила Ольга, уловив в голосе Мефодьки тревогу.

— В Ипатовой пади, уклончиво ответил Мефодька. — Должно быть, ребята барсука из норы выкуривают...

Они стали спускаться вниз. Ольга торопилась домой. Над хутором кричали уже вторые петухи.

2

Через час у пасеки Ипата Агапеича, в кустах, сидели трое и тихо разговаривали.

— Нет, ночью Ипат зря не пойдет.

— Конечно, кто ночью пчел тревожит.

— А может, воры?

— Откуда им здесь! Мефодька прав...

— Тише! Слышите — лошадь...

Голоса стихли, люди встали, насторожились. Это были Самойла Волгин, дед Евсеич и Сенька Полторы-Бродяги. Волгин осторожно раздвинул кусты и шагнул вперед.

— Пошли, мужики, как бы чего не случилось.

Полторы-Бродяги и дед Евсеич тронулись за Волгиным следом.

... А Мефодька тем временем, ничего не видя перед собой, с трудом пробирался сквозь густой черемушник, перевитый молодым хмелем. Хмель мешал идти, кусты шумели. Мефодька останавливался, чутко прислушивался вокруг, но слышал только тревожный бой своего сердца, тупыми ударами отдававшийся в висках.

Кругом было тихо. Но вот где-то близко, кажется совсем рядом, фыркнула лошадь, и опять стало тихо. Мефодька выбрался, наконец, из кустов, сделал несколько быстрых, осторожных прыжков вперед и оказался у дверей омшаника.

На стене мигал огоньком фонарь. Посредине чернела яма. Рядом с ямой, склонясь над мешком, стоял Ипат Агапеич—вид был суров и сосредоточен.

Кровь жарко ударила в лицо Мефодьке, и он мгновенно оказался на пороге омшаника.

— Мефодька?!.—Ипат Агапеич как стоял, так и окаменел на месте. Но это только какой-то миг. Рука его дернулась к лопате. Мефодька опередил его.

— Не торопись, Ипат Агапеич, не надо!—Мефодька выбросил лопату за дверь.

Ипат Агапеич дрожал, как в лихорадке, глаза его дико горели, из груди вырывался стон:

— Ты с кем?.. Как ты сюда?.. Ночью...

— А вот шел да зашел!—тоже еле сдерживая дрожь, ответил Мефодька.—Иду и вижу: горит огонек. Дай, думаю, посмотрю, что здесь... А тут—видишь, какое дело! Эх, Ипат Агапеич, и украсть не сумел! Надо бы окно-то завесить...

Ипату Агапеичу казалось, что он слышит не Мефодькин голос, а будто кто-то молотком вколачивает ему в голову ржавый гвоздь—так больно отдавались в голове язвительные слова Мефодьки. Мефодька сделал шаг вперед, и это его движение словно развязало руки Ипату Агапеичу: он быстро, с ловкостью зверя, отскочил назад, сорвал со стены фонарь и, размахнувшись, бросил его в Мефодьку. Мефодька вовремя пригнул голову, и фонарь, ударившись о притолоку, брызнул стеклом.

— Промахнулся!—крикнул Мефодька и бросился на Ипата Агапеича.—Н-на, сволочь!..

Удар пинка был рассчитан верно: Ипат Агапеич почувствовал резкую боль в паху, взревел, точно раненый боров, и скорчился.

Мефодька выскочил из омшаника. Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то твердое и тяжелое обрушилось ему на голову. Он взмахнул руками и, как подрезанный куст, осел на землю ..

3

... Когда Мефодька очнулся, был уже день. Он лежал на кровати, а рядом с ним сидела Ольга и, позабыв свой девичий стыд, плакала, держа на его забинтованной голове тряпку со льдом.

Мефодька открыл глаза. С минуту он лежал недвижно, но вот на губах у него обнажилась не то улыбка, не то они перекосились от боли. Он хотел приподнять голову, но Ольга удержала его.

— Лежи, лежи!—мягко, но требовательно прошептала она.

— А ты зачем здесь?—глянул на нее непонимающими глазами Мефодька.

— Молчи. Выпей воды немного.

К ним подошла Александра Волгина с ковшем воды. Мефодька сухими, дрожащими губами прижался к холодному ковшу, потом снова хотел приподняться, но тут же уронил голову на подушку.

— Лежи, не вставай.

Мефодька с минуту лежал не шевелясь, затем, очевидно, понял, где он есть, спросил:

— А где Самойла Ильич?

— В Поперечный уехал. С хлебом там переловили мужиков.

Мефодьке смутно представилась ночь... Ольга. Цветы. Огонек. Омшаник. Перекошенное лицо Ипата Агапеича. Фонарь... А дальше, как ни пытался, — ничего не мог припомнить, точно все заспал. У него опять замутилось в голове, и он плотно закрыл глаза, как бы преодолевая боль или силясь припомнить что-то. Потом снова открыл их и, глянув на Ольгу, спросил:

— Кто это меня?.. Ипат?

— Нет, Архипка. Дядя Самойла говорит, если бы не подоспели—насмерть.

Мефодька опять помолчал и снова спросил, теперь уже ясно—улыбнувшись:

— Ольга, а огонек-то помнишь?

— Помню, помню,—смахнула Ольга со щеки слезу.—Ты лежи, не разговаривай.

Но Мефодька молчать не мог: какие-то легкие чувства вдруг переполнили его, и то, что случилось вчера, казалось ему теперь чем-то необходимым, приятным и радостным,—даже если бы сама смерть. Но смерти ведь нет! И он опять улыбнулся.

— Красивый огонек!.. Ой, какой красивый!—повторил он слова Ольги, и голос его был какой-то странный—трепетный,—и рассуждал он сейчас тоже как-то странно—ласково, по-детски, и это пугало Ольгу: все ли в порядке с головой.

На глазах у Ольги снова навернулись слезы. Она склонилась к Мефодьке и прижалась мокрым лицом к его груди. Мефодька нежно погладил ее волосы, и от них повеяло на него приятной свежестью вчерашних огоньков. Он закрыл глаза и радостно, одними губами улыбнулся.

В избу вошел Самойла Ильич, а вскоре за ним—Семен Калистратыч и Митька Смыков, одетый по-дорожному, с бичом в руке.

— Ну, как дела, кориш?—мягко улубнувшись, спросил он и пошутил:—Опомнился? Давай поедem в город—черепок починять.

Мужики осторожно вынесли Мефодьку на улицу и уложили в телегу. Рядом с ним села Ольга, так чтобы можно было поддерживать на руках его голову. Митька сел с другой стороны и шевельнул вожжами. Кони тихо тронулись.

Самойла Ильич, Александра и Семен Калистратыч проводили их молчаливым взглядом. Потом Волгин провел ладонью по усталому лицу, сказал:

— Александра, сходи к Мефодию домой, предупреди мать, а то будет беспокоиться.—И помолчав, добавил:—Молодец парень. Только бы все хорошо обошлось.

— Ничего, Самойла Ильич. Все будет, как надо!—заверил Семен Калистратыч.—Степановская порода крепкая—выдержит!

Они закурили и пошли в сельсовет.

КОГДА ВСКИПАЕТ ГНЕВ

1

На другой день арестованных увезли в город. Вместе с ними на суд выехали дед Евсей и Волгин. Межовцы притихли в напряженном ожидании. Все эти дни они переживали какие-то непонятные чувства: то радость глубоко проникала им в сердце и начинала волновать их; то вдруг исчезала она, эта радость, и им никак не верилось, что в жизни их произошло что-то важное; порою даже казалось им, что никто никуда вовсе и не увозил хуторян, что все в Межовке идет по-старому, —и только после того, как из города вторично приехала конная милиция и забрала с собою семьи арестованных,—все стало становиться на свои места.

Да, жизнь наконец обернулась к межовцам светлой стороной. Они осознали совершившееся. За это время, пока Волгин находился в городе, почти каждый из межовских мужиков успел уже не раз побывать и на хуторе и в Лунином доле—надо же посмотреть, что там есть, порадовать сердце!—и мысль о том, что скоро они станут безраздельно владеть всем, что принадлежало „Красному пахарю“, настолько глубоко и прочно вошла в их сознание, что когда из города возвратился Волгин и сообщил им, что на месте ликвидированного кулацкого хутора область организует в Поперечном Государственный конный завод, они даже растерялись.

— Как же это, братцы, а?—первым, как всегда, заголосил Илья Пыжик.—

Опять разорять нас хотят, кой грех!—кричал он так, словно все, что осталось от хуторян, было уже его собственностью.—Не давать, мужики! Наше добро! Слышишь, Самойла, никому не дадим!..

— Верно, Илья! Не давать!

— Не дадим!

— Не надо нам конного завода! Наша земля!..

— Наше хозяйство!..

И „не дадим“ грозным протестующим воплем пронеслось над толпой.

Ограда сельсовета кипела народом, на крыльцо выскочил Григорий Крючок. Сияясь заглушить голоса и потрясая над головой рваной шапчонкой, он громко крикнул:

— Не давать хутор! Наше добро! Айда в Поперечный!..

И с легкой руки Григория Крючка и Пыжика межевцы двинулись к хутору. А через час они устроили там такой погром, какого не видывала еще в своей жизни Межевка.

Над Поперечным стоял сплошной вой. Злоба на хуторян, копившаяся годами, теперь наконец вскипела, прорвалась и дала себе волю. Люди как ошалелые носились по хутору, дико кричали, хватали добро, дрались и не столько брали себе, растаскивали по домам, сколько ломали и уничтожали на месте. Казалось, какая-то невидимая сила управляла разгоревшейся страстью межевцев, превращала их гнев в неукротимую энергию, в буйство.

— Не жалеи, мужики, ничего! Жги! Ломай! Наши теперь права! Довольно, произдевались, злодеи! Наше добро! Бери! Бей!..—носилось над Поперечным.

Хутор был переполнен народом. Всюду сновали мужики и бабы. Во дворе Ермалая Ивойлыча орудовали братья Анохины—Егор и Анфим—с сыновьями и снохами. С амбаров были сбиты замки; окна и двери дома раскрыты настежь. По ограде всюду были разбросаны разные вещи. Егор Мироныч, старший Анохин, высокий сухощавый мужик с длинными, как плети, руками и всклокоченной головой, сновал по закуткам, командовал:

— А ну-ка, бабы, выбирайте, что получше, да на телегу! Быстрее поворачивайтесь! Петька, запрягай жеребца!—Он обернулся к брату, крикнул:— Анфим, помоги-ка вытащить машину!

Анохины вдвоем выволокли из сарая косилку и привязали ее к задку телеги. Телега быстро наполнялась ящиками, домашним скарбом. Бабы наперебой хватали, что попадало под руки, рассовывали по разным углам, и воз на телеге вырастал все больше. Младший сын Анфима Дениска притащил полное беремя хомутов, бросил их на косилку.

В ограду вбежало несколько мужиков и баб. Они бросились было к телеге, но Анохины преградили путь.

— Куда лезете? Не ваше!—яростно закричал Анфим.

— И не твое!—огрызнулась на него небольшая шустрая бабёнка, хватая с телеги какой-то горшок.—Не одним вам! Ишь, навалили сколь! Не давайте, бабоньки, одним! Берите!..

Бабы кинулись к возу. Анфим, Егор и Дениска набросились с кулаками на них, мужики заступились за баб, и началась потасовка. Крики и вой огласили ограду.

— Драться вы! Драться!.. А ну, мужики, поддай! Поддай!..

— Викентий, лупи Егора! Ишь, долговязый какой! Жадюга!..

— Бабоньки, не сдавайтесь! Не одним им—всем надо!—слышался визгливый голос шустрой бабёнки.—А ты на меня... Ах, ты, сволочуга! Я вот тебе дам!—Она вцепилась в волосы Аксины, снохи Егора, такой же „маленькой и верткой“ бабёнке, и они, повалившись на землю, покатались по ограде.

Воспользовавшись свалкой, Петька Анфимов стегнул жеребца, конь хватил с места, и воз выскочил за ворота. Кое-кто бросился было за ним следом, выбежал на улицу, но Петька был уже далеко.

На улице было шумно. Народ кипел. Кипела ненависть. Во всех дворах стоял сплошной гвалт. Страшные крики и вопли носились в воздухе. Всюду трещали заборы, плетни, гремело железо. Вскипевшую ярость остановить было ничем нельзя. Самойла Ильич Волгин и дед Евсеич бегали по дворам, уговаривали, стращали мужиков судом, но это не помогало. Люди, словно одержимые, хватали все, ломали, разбрасывали, тащили...

В ограде Елизара Парфеныча вспыхнула новая свалка. Там взломали сарай и амбар. Каждому хотелось захватить что-либо получше, поценнее, он лез напролом вперед, сталкивался с другим, и стычка была неизбежной.

— Мой плуг! Я захватил первый!—размахивая кулаками, кричал Григорий Крючок, наседая на белобрысого, тоже разгоряченного мужика.— Не лезь!..

— Нет, врешь! Я подбежал первый!—кричал белобрысый, не уступая Крючку.— Нет, ты не лезь! А то вот!..

Они схватились и начали друг другу поддавать кулаками: „Вот я тебя! Вот я тебя!“ И пока они дрались, кто-то третий схватил плуг и уволок его из сарая.

У амбара делили одежду. Кто хватал шубу, кто пальто, кто юбку и кофту. Две бабы одновременно ухватились за цветастый Маланын сарафан. Они пытались вырвать его друг у дружки, но силы были равные, и сарафан вместе с ними метался по ограде. Наконец сарафан не выдержал, разорвался пополам, и бабы, со стоном и воплями, кувырком разлетелись в разные стороны. Затем они вскочили, бросили обрывки сарафана и снова вместе побежали к амбару...

— Бабоньки, не оставьте! Ба-абоньки!..

В ограду вбежал Афонька Федулов, весь в крови, пьяный. Глаза его дико горели, в руках у него был шкворень.

— Где Волгин? Где?! Не позволю, чтобы грабили! Не позволю!..—Он переметнулся через изгородь и прямо по огородам побежал к дому Ипата Агапеича.— Кто дал право? Убью!..

— Вот шаланут окаянный!—выругался дед Евсеич.—Опять нализался. Не иначе—натворит беды!—Он кинулся за ним следом.

В доме Ипата Агапеича тоже шел делёж. Кто на лошадях, а кто просто на загорбке растаскивали все, что можно было утащить.

— Бери, братцы, бери! Наше добро! Хватит, потерпели муки!—кричал Илья Пыжик. Точно затравленный суслик, потерявший свою нору, он бегал по ограде из угла в угол, кричал, суетился, хватался за все, что попадало под руку, выбирал, что получше, но так и не успел взять ничего хорошего—все растащили другие,—увидал под поветью сарая старый, с поломанным колесом ходок, впрягся в него и на себе поволок в деревню.—Все равно пригодится! Не пропадать добру!

— Ах, в лоб те ложкой!—закричал на него Игнатий Нефедыч.—Куда ты прешь? Надорвешься!

— А он, кой грех, Буланку моего утопил!—огрызнулся Пыжик.—Это как? Вот теперь квиты!

— Оставь, говорю, леший! Грыжу сорвешь!

Пыжик с яростью рванул за оглобли и быстро засеменял по дороге.

2

Вечером, когда над Поперечным установилась тишина, дед Игнатий, Семен Калистратыч и Митька Смыков, охранники амбаров с зерном, ходили по хутору и только поражались—до чего же крепко и лихо поработали межевцы!

Картина была разительной: и во дворах, и на дороге, и просто на улице—

всюду были разбросаны остатки разрушенного хозяйства. Кругом, куда ни посмотри, виднелись то поломанные сани и телеги, то плуги и бороны; тут же валялись разные части машин, бездонные бочки, мятые ведра, битые горшки и чашки и другая домашняя утварь, тоже поломанная, разбитая и ненужная. Около дома Кузьмы Егорыча, на задворках, в огороде, чернела обуглившаяся куча навоза; кто-то хотел поджечь и сарай, но эта затея, видимо, вовремя была предупреждена кем-то: обгорелые пучки соломы были разбросаны по огороду, а сам очаг поджога—навозная куча—засыпан свежей землей. Недалеко от кучи лежали опаленные старые пимы и сермяга, а рядом с ними—огромная корзина с рассыпанным вокруг нее ржавым железом. По следам, оставленным на траве, можно было легко определить, что все это добро, оказавшееся никому ненужным, было кем-то извлечено через проломанную стену из соседнего зенковского сарая. Поветь сарая тоже была раздергана, на ней торчали острые концы обнаженных жердей, а с них до самой земли свисали сухие прутья и разбитые, потемневшие от времени снопы камыша. Новый дом Ипата Агапенча издали походил на общипанную курицу: тесовая обшивка во многих местах разворочена, и оторванные тесины теперь топорщились, напоминая поломанные перья; столбики на крыльце были подрублены, маленькая крыша его, обвиснув, походила на опущенный хвост. Окна в доме разбиты, наличники сорваны; кто-то хотел утащить и ставни, но, видимо, не осилил и побросал их тут же в огороде, и они, ярко выделяясь в траве, голубели, точно грядки цветов. Прямо в проходе в огород, у сорванных с петель тесовых ворот, стоял водовозный редван с опрокинутой бочкой, а рядом с ним, втоптаный в грязь, валялся измятый лист железа, на котором сохранились еще следы желтой охры: „Правление артели „Красный пахарь“.

— Вот тебе и красный пахарь! Напахали, в лоб те ложкой!—сокрушенно покачал головой Игнатий Нефедыч, подняв измятый лист и расправляя его на коленке.—Влетит теперь нашей власти. Экая сила!

— Не миновать тюрьма!—согласился Семен Калистратыч.

— А дяде Самойле, говорят, голову пробили,—сказал Митька Смыков.

— Кто?

— Афонька Федулов. Будто шкворнем.

— Эх, все это Пыжик с Крючком. Как бы не они...

— Ну, это как сказать!—возразил Семен Калистратыч.—И без них бы случилось то же. Много шибко обиды на хуторских накопилось.

— Да, много!—вздыхнул Игнатий Нефедыч.—Влетит теперь и нам. Скажут, где были? Чего смотрели, охранники?.. А разве сладишь с такой громадиной. Сила! Хорошо еще хоть амбары с хлебом уберегли.

Он сложил железный лист вдвое и, сунув его за притолоку ворот, усмехнулся:

— Отпахался—пахарь!

3

На другой день Самойлу Волгина и председателя сельсовета Евсеича вызвали в город. А еще через день туда же увезли Илью Пыжика и Григория Крючка, зачинщиков погрома, и Афоньку Федулова.

И снова присмирели межевцы, забились по избам. Опомнились, да ничего не сделаешь: поздно. Надо было раньше думать—куда шли и зачем шли. А теперь сиди и молчи. И притихла Межевка, затаив напряженное молчание: ни крика на улице, ни смеха, ни голоса песни—тишина. Так бывает в горах после лесного пожара, когда огонь, уничтожив все на своем пути, давно уже ушел, а на месте его, где осталась лишь обугленная земля, молчаливая и печальная,—далеко вокруг не услышишь больше ни легкого посвиста крыла птицы, ни трубного крика марала, ни трепетного топота курана—лесного козла,—все будто вымерло, все затихло.

В тишину погрузился и Поперечный хутор. За целый день не увидишь человека! на улице—пустота.

Но вот однажды в один из таких дней, точно стая галчат, с громким криком влетела в ограду Елизара Парфеныча ватага ребятишек.

— Едут! Едут!

В окно на улицу высунулась голова Игнатия Нефедыча, а за ним показался Сенька Полторы-Бродяги.

— Кто едет? Где?

— А вон, за речкой! Глядите, пылит как! — захлебываясь, сообщил Никитка Азямов, веснушчатый мальчишка лет тринадцати, Игнатия Нефедыча внучек. — Дядя Самойла, должно, из города! И конный завод!..

Машина быстро вбежала в хутор. Обдав ребятишек пылью, она проскочила мимо и резко затормозила у ворот дома Ипата Агапеича. Игнатий Нефедыч и Сенька Полторы-Бродяги, окруженные ребятишками, пошли туда.

Из кузова машины выпрыгнул Самойла Ильич, а за ним осторожно слезли Евсеич и еще двое—должно быть, конезаводцы: один—высокий, в сером брезенте, лет сорока пяти мужчина, с остренькой клинышкой бородкой, другой—маленький седой старичок.

Самойла Ильич и гости сразу же прошли в дом, Евсеич ненадолго задержался у машины.

— Ну, как, хорошо обошлось? Говори сразу, — подойдя к нему, заговорщески тихо спросил Игнатий Нефедыч.

— Хорошо! — усмехнулся Евсеич. — Верхнюю часть Лунина дола — „Рассвету“. Инвентарь, машины и часть скота — тоже. Илью Пыжика и Григория Крючка освободили. Волгин выручил. Афоньку посадили в тюрьму. А нам с Самойлом Ильичем — выговор! — выложил он сразу все новости.

— Вот это здорово, в лоб те ложкой!

— Что здорово — выговор? — Нахмурился Евсеич.

— Да нет, я о Лунином доле. Выговор, конечно, плохо!

— А-а, — протянул Евсеич, ухмыляясь. — Вон ты о чем! А я уж думал, выговор — хорошо! — Он немного помолчал и, перейдя на серьезный тон, стал рассказывать: Всыпали нам в райкоме партии крепко. И за дело: не допускай погром! Можно бы еще кой-кому, да секретарь райкома заступился. Когда лед ломает, трудно, говорит, разглядеть, какая крига больше, а какая меньше — все одна на другую похожи. А сейчас время такое. Деревня, говорит, открытой войной на кулаков пошла. Партия разрешила это. Мы на заседании райкома сами были. Слышали: кулакам никакой пощады! Стружечкина помнишь? Это тот, что жалобу нашу разбирал? Из партии его исключили: кулакам покровительствовал. Ложные колхозы насаждал... Ну, а как у вас? — спросил он в свою очередь. — Хлеб цел? Ничего больше не растащили?

— Где там! — рассмеялся Игнатий Нефедыч. — Не до этого было! И то, что взяли, обратно снесли. Вон, видишь? — указал он на двор Кузьмы Егорыча. Всю ограду завалили. Когда брали — храбрились, а как почувствовали отвечать — стыд и страх прохватил: тайком, ночью, чтобы никто не видел, — все обратно! Смех и горе!..

Теперь рассмеялся Евсеич.

По пути в дом Игнатий Нефедыч спросил:

— А этот кто — с бородкой-то? Директор?

— Нет, директор маленький, а этот заместитель его. Строгий! Сначала нивкакую не хотел соглашаться на раздел хуторского хозяйства. Отдавайте все — и конец! Ну, а потом согласился: секретарь райкома товарищ Карпов поприжал его. Помягче стал — сговорчивей. А директор — старик хороший. Сразу на все был согласен. Душевный старик...

Узнав от Пыжика и Крючка подробности, межевцы через час уже были в Поперечном. Насиделись, наскучались они. И теперь им хотелось побывать на природе, поговорить, послушать, словами и смиреньем своим искупить вину того памятного буйного дня. Скоро ограда Ипата Агапеича переполнилась, и хутор снова ожил. Говорили громко, наперебой, и среди возбужденных голосов теперь можно было услышать и смех и шутки, возникавшие как-то сами собой невольно и просто.

Двое стариков, постепенно расставаясь с томлением одиночества, вели непри-
нужденный разговор, перебрасываясь колкими шутками:

— Что-то долго не видать было, Егор, — отдыхал?

— На печи лежал. Слышал, будто плужок приобрел? Хороший плужок?

— Ничего плужок — новенький! Сто рублей Кузьма Егорыч за него платил. Что во сне-то видал?

— Плохо спал — тараканы ели! А плужок-то Кузьма Егорыч подарил, али как?

— Подарил. Паши, говорит, да вспоминай меня! Слышал, будто и ты хомуты купил?

— Елизар Парфеныч на подержанье дал. Немного подержал, да вон обратно принес...

И дружный смех оглашал ограду.

А в стороне, под навесом, вокруг Игнатия Нефедыча — он сидел на предамбарье с берданкой в руках, — собралась небольшая кучка мужиков, и старик, не скрывая ликования, передавал им разговор директора конезавода и Волгина, слышанный им самим в доме Ипата Агапеича:

— Поможем, говорит, как не помочь. У нас тракторы и машины свои всякие. Пни разворочить, али болота обсушить для нас, мол, — плевое дело! Раскорчuem. А Самойла говорит, и мы, мол, тоже в долгу не останемся: чем ни есть, а поможем и вам. Такие соседи, как вы, говорит, для нас польза одна. Не то, что хуторяны...

— Это верно, — согласно кивали мужики.

— А как же не верно — верно! — убежденно сказал Игнатий Нефедыч. — Глядишь и мы около них своих племенных коней заведем. Ясно. А потом, говорит директор вместе электрическую станцию поставим. — Этого, конечно, директор конезавода не говорил, но Игнатию Нефедычу так понравились обещания его, что он невольно захотел их расширить сам; к тому же здесь присутствовал Сенька Полторы-Бродяги, который не раз уже доказывал межевцам, что построить электростанцию на реке Межовке — плевое дело, и он хотел обрадовать его. — Так и сказал: построим, мол, если вместе возьмемся.

— Ну, это, поди, не скоро, — усомнился кто-то.

— А ты бы все сегодня хотел: вот, мол, на — получай! — рассмеялся порадованный Семен Калистратыч. — Сразу ничего не делается. А только можно, я не раз говорил об этом. Смотри, какая сила в реке! И зря пропадает...

К ограде подошли директор конезавода и Волгин — они ходили осматривать постройки хутора, где должен был размещаться главный стан конезавода, — и разговоры прервались.

— Хо, Аники-воины! — весело воскликнул Волгин, оглядывая вдруг притихших межевцев. — Собрались? С повинной головой пришли?

— А что — мы не заносчивые! — выступив вперед, ответил за всех ни в чем неповинный Сенька Полторы-Бродяги. Черные глаза его с хитринкой улыбались. — Надо — так извинимся. Грех попутал, а правда распутает! Так я говорю? — круто повернулся он на длинных ногах к мужикам.

— Верно, Семен Калистратыч! — Волгин пожал ему руку и, подмигнув дирек-

тору конезавода, шутливо спросил:—Так как же, Георгии Дмитриевич, извинить мужиков придется? Малость попортили ваши дома, но что же...

— Раз сами просят— придется!— усмехнулся Георгии Дмитриевич. —Только чур в будущем согласно жить!

Все рассмеялись. Волгин видел, какие большие перемены произошли в межовцах, и был рад. Он весело сказал:

— Значит, так и будем считать: конфликт окончен! А теперь, товарищи, приглашайте гостей на мировую!—так же весело добавил он, и первый полез в кузов машины.

Полуторка быстро заполнилась народом, и шофер, дав сигнал, круто развернулся. Машина запылила к Межовке.

КОНСТ. КОЗЛОВ

БУДНИ РОДНОЙ СТОРОНЫ

МЕНДУРСОКОНСКИЕ ЗОРИ

I.

На тонкие струны топшура ложатся пальцы старого Уячи Токпокова. Он слегка проводит по струнам, прислушиваясь к звукам, затем на минуту вскидывает голову и всматривается в зал.

Кого ищет Уячи? В зале—его земляки из Мендурсокон: председатель колхоза Делдон Такысов, электрик Павел Чучин, плотник Кичинекбай Матин и многие другие. На лицо Уячи, испещренное морщинами, падает ослепительный свет лампы. Но он видит своих земляков, их глаза ободряюще говорят: „Смелее, Уячи!“.

Уячи внешне спокоен. Первый раз в жизни он участвует в столь необычайном состязании. Но разве кто-нибудь может спеть лучше Уячи? Он будет петь про колхозный Мендурсокон, песня расскажет о новых светлых домах, тракторах, что бороздят колхозные поля, об электричестве, осветившем новые избы. Вначале Уячи споет о старом Мендурсоконе. Не все знают, каким он был до революции, когда его широкая долина была долиной голода, нищеты и горя.

Хорошей песне нужен разгон, простор, чтобы она могла войти в сердце человека. Зазвенели струны. Сначала тихо. Потом напев зазвучал сильнее и сильнее...

II.

Стремительно бежит Чарыш. Высокие горы, покрытые дремучими лесами, полукружьем встали над долиной. С южной стороны возвышается гора Темир-тага, с юго-восточной—Таянга-гора, а с севера—оголенная холодными ветрами зимы, не приветливо смотрит гора Шалтар.

До революции самые лучшие места принадлежали баям. В живописном логу Ойбок жил хитрый бай Саадак Шамшин. У него было около двух тысяч овец, много коров. Батраки пасли байские стада, получая за это объедки со стола. А в логу Соргоол жил бай Багай Тадин.

Кочевники жили в грязных холодных аилах, умирали от болезней и голода. Много бедняцких стонов слышала Таянга-гора, много унес человеческих слез многоводный Чарыш!..

...Заря новой жизни зажглась над Мендурсоконом. Не стало баев Шамшина и Тадина. Отгремел бубен шамана Кали Арпакова.

...Взгляните на новый Мендурсокон. Те же горы стоят вокруг него, но иная жизнь в избах, пришедших на смену айлам. Они выстроились в одну улицу.

Раньше считалось, что умываться надо только до локтей, иначе смоешь всё счастье. Многие даже и этого не делали, но счастье не приходило. Теперь в колхозном Мендурсоконе свои общественные бани. И никто, даже древние старики, после жаркой бани не жалуются на потерю счастья.

Радостна жизнь людей Мендурсокона. По вечерам в избах вспыхивают лампы Ильича. На берегу Чарыша сооружена мощная колхозная гидроэлектростанция.

Многие думают, что Мендурсокон, затерявшийся где-то в горах,—глухомань. Напрасно думают. Каждый день колхозники слушают по радио Москву.

А школа? Это гордость села. Детей учит дочь бывшего кочевника Вера Кульдина.

Люди Мендурсокона осваивают такие профессии, о каких раньше не имели понятия. Павел Чучин был кузнецом, сейчас он электрик колхозной гидроэлектростанции. В селе появились свои трактористы, комбайнеры.

Зажиточно живут мендурсоконцы. На фермах свыше пяти тысяч голов скота, есть кролиководческая и свиноводческая фермы, пасека.

Новая культура вошла в быт людей. Когда здесь была построена первая изба, правление колхоза решило вселить в нее охотника Макая Тукчина, как самого старого человека. Но Макай заупрямился.

— Жил в айле и умру в нем,—говорил он.—И в баню ходить не собираюсь, хватит и того, что до локтей моюсь.

— Ну, что ж. перечить тебе, Макай, не будем. Живи вместе со своим айлом, как музейная редкость.

Пожил с год в своем айле Макай, и когда стали проводить электропровода в избы, не утерпел—пришел в правление и заявил председателю Делдону:

— Хорошая эта лампа! Повесьте такую и в мою юрту.

Лампу ему в аил не повесили лишь потому, что вскоре Макай переехал в новую избу.

Хорошие дни, счастливая, вольная жизнь пришла в Мендурсокон. Хорошо об этом сказал в своем стихотворении колхозник-комсомолец Селей Кудермеков:

Было время. Оглашались стоном
Синие хребты Мендурсокона.
Было время. Под жестокой плетью
Умирал кочевник; только ветер
Выл в ущельях долго и уныло
Над его заброшенной могилой.
По-иному обернулось время,
Стали мы уже теперь не теми.
Расцвела под радостным законом
Наша жизнь в горах Мендурсокона!
Мы живем и знаем, что навеки
Всё, что есть: земля, озера, реки
И луга, что словно шелк лежат,—
Только нам одним принадлежат...

Вот примерно о чем пел старый топшурист на состязании певцов в аймачном центре Усть-Кане. Когда он кончил, слушатели бурно аплодировали.

В тот же день, вечером, вместе с мендурсоконцами мы ехали вверх по Чарышу. Уячи Токпоков, электрик Павел Чучин, плотник Кичинекбай Матин и другие вполголоса разговаривали. На склонах гор шумели деревья, издалека доносился приглушенный рокот Чарыша. Но вот мы свернули вправо и с перевала увидели электрические огни.

Председатель колхоза Делдон Тақысов, указывая на огни, сказал:

— Глядите! Мендурсоконские зори горят. Видите?

Кони быстро шли навстречу огням, вокруг лежала земля Алтая.

Усть-Канский аймак

Б У Р А Н

Взвихривая снег, проносится над степью ветер. Шумит в скалистых берегах взбудораженная Чуя. Холода не успели еще заковать ее в ледяной панцырь. Бежит она, будто взмыленный конь, галопом, перескакивая через камни. Полукружьем стоят над широкой равниной Чуйские альпы. Никогда не тает на их вершинах снег.

Высокогорная Чуйская степь—край отважных, трудолюбивых животноводов!.. Сколько раз слышал я на пастушьих становях удивительные рассказы о мужестве людей, живущих в этом суровом краю. О смелой девушке Курманчи мне однажды рассказал старый колхозник Карман Таныбаев, заведующий овце-товарной фермой колхоза.

Это было вечером, когда прохладные сумерки, окутав голубым покровом степь, вплотную приникли к низким окнам пастушьей избушки. Мы сидели возле ярко пылающего камелька, уставшие от недавней поездки, и отогревали озябшие руки. Карман сидел, поджав под себя ноги. На его скуластом лице с жиденькой клинышкой бороденкой, весело плясали огненные блики.

— Только в наше, советское время могут быть такие люди,—медленно и нараспев начал старик свой рассказ.—Я много прожил на земле, много сохранила моя память, но я не помню ни одного случая, чтобы в старое время так поступали люди, как поступила Курманчи.

К нам на ферму прислала ее комсомольская организация. Мы, старики, отнеслись к ней с недоверием. Уж больно молодо выглядела она: тоненькая, непоседливая, самая, что ни на есть девчонка. Ну, как такой доверишь отару? А у нас в колхозе все овцы племенной породы. В нашем деле нужны смелые люди, которые бы любую опасность вынести могли. Ей бы в конторе сидеть, на счетах щелкать, а ее на ферму послали.

Правда, Курманчи имела кое-какой опыт по уходу за овцами. Ей приходилось водить отары со своим отцом, знатным человеком нашего колхоза. Но пасти с отцом это одно, а быть самостоятельным чабаном—совсем другое дело. Посоветовали мы ей помощником к старому чабану пойти, да где там! Меня, говорит, комсомол послал, а вы не доверяете мне. Буду в райком, говорит, жаловаться. И что же вы делаете? Настояла на своём...

Случай, о котором я хочу рассказать, произошел совсем недавно, в конце лета. Получив отару, Курманчи угнала ее к подножию Чуйских альп, с таким расчетом, чтобы с наступлением холодов, когда в горах начнут бушевать вьюги, перегнать отару в долину, поближе к стоянке. Ничего не скажешь—сделала она по-хозяйски...

Карман подбросил в затухающий камелек сушняку. Золотыми мотыльками вспорхнули к потолку искры. Тонкий язычок пламени лизнул поленья, избушка наполнилась веселым потрескиванием дров. Старик набил трубку, угольком прижег её и, подвинувшись поближе к теплу, продолжал рассказывать.

— Дела у Курманчи шли хорошо. Все овцы были сытыми, упитанными. Она оказалась на редкость старательной девушкой. Бдительно охраняла свою отару. В наших краях круглый год бродят стаи волков. Глаз да глаз нужен. Учуют волки овец и ползком подбираются к отаре голодные и злые. И стоит только прозевать, то много овец не досчитает чабан...

В скором времени из города для Курманчи награда пришла. Комсомол наградил ее почетной грамотой. По такому случаю вызвали девушку на центральную усадьбу, чтобы при всем народе передать эту грамоту в ее руки. Курманчи приехала. С отарой осталась ее помощница — такая же молоденькая, как и она, — Чейнеш Яранкина.

На собрание чуть не весь колхоз собрался. Очень тогда Курманчи хвалили, другим в пример ставили. Человек из района руку ей крепко пожал: „Ты, говорит, заслужила эту награду, Курманчи, благодарим тебя от всего сердца“. Только растерялась она. Взяла грамоту, хотела сказать что-то, и сказать не может, только слезы в глазах блестят. Видать разволновалась малость. Да и то сказать, было отчего волноваться. Не каждому такую награду и не каждый день дают. Народ в ладоши хлопает, шумит. Села Курманчи на свое место сама не своя, к окошку отвернулась. А собрание идет, как положено, про другие дела говорят, а дел в колхозе много. Вдруг Курманчи вскочила с места, к окошку прильнула. Потом повернулась к залу вся бледная, испуганная. Рукой на улицу показывает.

— Глядите, товарищи, глядите!..

Эти слова она произнесла чуть ли не шопотом, но их поняли все. В зале стояла такая тишина, что даже можно было услышать полет мухи. В голосе Курманчи было столько беспокойства, что все невольно вскочили со своих мест и бросились к окнам. В том направлении, куда показывала девушка, бешено клубились сумрачные облака. Гор не было видно совсем. Казалось, что плотный туман скрыл их от человеческого взора.

— Чепуха! — сказал кто-то, — в такое время этого не бывает...

— Буран, буран!.. — хрипло крикнула Курманчи и быстрее оленя выскочила из клуба. Вслед за нею бросились колхозники. Но девушки уже не было. Перекинув через плечо ружье, она мчалась на лошади во весь опор по степи.

В тревожном ожидании прошла ночь. И до утра не гасли огни. На рассвете вернулись десять всадников, посланные на поиски. Вернулись они страшно изнеможенные от усталости. Но ни Курманчи, ни ее отары нигде не обнаружили.

...А Курманчи в это время была далеко от колхоза. Прямо из конторы она ринулась туда, где оставила овец. Каждый камушек был знаком ей в степи, каждое ущелье в горах знала она. Но что можно было увидеть в этой кромешной, клубящейся мгле. Ветер хлестал с таким остервенением, как будто хотел выбросить из седла смелого всадника, посмевшего вступить в его безраздельное царство. Неистовый пронзительный свист резал уши. И была Курманчи в этой разбушевавшейся стихии щепкой в необъятном море.

Внезапно буран стих. Стих для того, чтобы ударить с новой силой. Но в эту секундную затишь чуткое ухо девушки уловило отдаленные звуки собачьего лая. Значит отара была близко. Отара шла на нее. Девушка обрадовалась, но в то же время сердце охватила тревога: овец гнал ветер!.. Курманчи знает, что означает это, если чабан неопытный. Ветер будет гнать и гнать животных до тех пор, пока они не свалятся обессиленные. Тогда гибель.

— Ах, Чейнеш, Чейнеш... — с досадой подумала Курманчи. — неужели она не знает об этом?..

Однако рассуждать времени не было. Повернув коня, девушка направила его в ту сторону, откуда она слышала лай собаки. Конь, не в силах противостоять шальным выюжным порывам, поминутно спотыкался. И много усилий требовалось от Курманчи, чтобы не свалиться с седла.

Вдруг две огромные лапы коснулись ее руки. Испуганно отпрянув назад, Курманчи машинально схватила за ружьё.

— Волки! — мелькнула страшная мысль. — Но почему же конь ведет себя так спокойно? Ах, да ведь это Куцый, волкодав Куцый!.. Значит отара где-то совсем рядом...

■ Действительно, отара находилась в нескольких метрах. Буран гнал ее к Курманчи. Почуввав впереди себя всадника, ошалелые животные остановились. И тут, словно из под земли, явилась Чейнеш. Она была от Курманчи всего лишь на расстоянии протянутой руки. Склонившись вплотную к помощнице, Курманчи что есть силы крикнула:

— На ветер надо гнать, на ветер! Иначе гибель... Понимаешь?.. Гибель... К горам поджимать надо!..

Началось самое трудное... Представьте себе бурю в тайге, когда деревья, буд-то подкошенные, падают друг на друга, вырванные с корнем. А здесь не тайга, а предгорная степь, где есть разгуляться ветру, и не деревья, выросшие могучими корнями в земную твердь, стоят на его пути, а люди да стадо беспомощных животных.

Сколько продолжалась эта неравная борьба, ни Курманчи, ни Чейнеш не скажут. Овцы шарахались в разные стороны, и когда одна из них прорывалась сквозь ненадежный заслон из двух всадников и умного пса, за ней бросалась вся отара. И опять приходилось начинать все сначала.

Наконец люди победили. Пригибая морды к земле, сбившиеся в кучу овцы неохотно пошли на ветер. Чейнеш и Куцый подгоняли их, а Курманчи заехала вперед. Дышать становилось невозможно — ледяной ветер перехватывал дыхание, невозможно было смотреть — колючий снег ослеплял глаза. Курманчи припадала к холке коня лицом, протирая заочеченными руками воспаленные веки, и шаг за шагом продвигалась все дальше и дальше.

А усталость брала своё. Хотелось спать. Хотелось просто грохнуться в снег и забыться в глубоком сне. Неимоверными усилиями преодолевая усталость и мучивший голод, Курманчи похлестывала коня.

И вдруг случилось невероятное. Буран неожиданно прекратился. Стало так тихо, что зазвенело в ушах. Лишь откуда-то сверху слышался раскатистый гул. Курманчи в недоумении оглянулась вокруг. Отвесные скалы окружали её. Это была долина безмолвия, известная у всех пастухов, как самое безопасное место во время непогоды. Когда отару скучили, Курманчи и Чейнеш съехали вместе. Они обнялись и заплакали. Сколько Курманчи бодрствовала потом, сама не помнит. Единственное, что помнит, это яркую звезду, мелькнувшую в небе, да чьи-то встревоженные голоса.

Проснувшись она в чистой и светлой комнате. Был день. В окна светило яркое солнце. Возле постели стояли люди.

— Где Чейнеш? — тихо спросила она.

К койке подошел человек с седыми висками. Курманчи с трудом узнала в нем секретаря райкома партии.

— С Чейнеш все благополучно, — проговорил он, — а тебе, Курманчи, надо еще поправляться, — и, ласково погладив её руку, сказал: — Ты настоящий советский человек!..

Свой рассказ Карман закончил словами:

— Хорошая девушка, замечательная девушка Курманчи. Если бы не она, — погибла бы и Чейнеш и отара...

Близится рассвет. Всё так же весело потрескивают в камельке дрова и светлые блики пламени пляшут на стенах пастушьего жилья.

Мы вышли на улицу. Перед нами лежала широкая степь. Стояла тишина. Но эта тишина была обманчивой. Степь жила жизнью чабанов, жизнью людей, которые во имя счастья своей родины делают большие дела.

С далеких гор тянуло холодом. Поднималось тусклое солнце, и утренний ветер гасил последние звезды.

Колхоз имени Ворошилова Кош Агачского аймака

Равиль ПАХАЕВ

ДАЛЕКИЕ ОГНИ

Р а с с к а з

Трудно проходимая таежная глушь. Мелкий кустарник, одетый пушистым снегом, верхушками пригнулся к земле. Треск деревьев, словно удар пастушьего кнута, оглашает мертвую тайгу, как бы подгоняя крепнущий мороз. Все живое попряталось.

У подошвы склона, в логу на полянке, робко приподнялся сугроб, из которого пробивается струйка дыма, уходящая свечей в низкий свод¹ неба. В темной закопченной землянке душно, как в бане: какой-то кислый спертый запах зловеще висит в воздухе, впитываясь в вещи и в людей. В углу, у входа, стоят пустые кадушки из под солонины, два больших берестяных туеса, один наполовину с засахаренным медом; в противоположном углу—трубки дубленой кожи и шкуры.

Сгорбленный, с морщинистым лицом человек, сидя на корточках, копается в печке, причмокивая, прикуривает коротенькую головастую трубку. Другой, весело размахивая руками, лежит на мягких шкурах и сиплым протяжным голосом поет какую-то залихватскую песню:

Кудри виться перестали,
Любить девушки не стали,
Ох, тоска берет...

Человек прикурив, жадно затянулся, прокашлялся и с усилием сказал:

— Запас кончается. Что делать будем?—Голос тихий, дребезжащий, зрачки глаз смотрят на лежащего умоляюще, в безнадежном ожидании.—А мне страсть хочется увидеть людей... Поговорить...

— Уууу! Завыла, тварь!.. Опять за старое,—по ястребинному соскакивая с лежанки, сорвавшимся голосом прокричал лежащий, судорожно сжимая коротенькие пальцы.—В расход? К стенке?—сверлили колющие, немигающие, немного опухшие глаза.—Недолго, паря, раз и—готово,—он мотнул головой на винтовки и ружья, висевшие на стене.—Думаешь забыли, как ты прикокнул сторожа-коммунара и сунул красного петуха под амбары? А кто поджигал скирды хлеба? Кто резал и колечил скот? Один я?! Как ты смыслишь, такого человека люди забывают? Ну? Нет, помнят. Не такой сейчас пошел народ. Засунь беззубому в рот палец—откусит и спасибо не скажет.

— Я же вообще говорю, так... ребятишек жаль... жену—как она их одна пестует. Голодны, поди. А житуха-то в деревнях ладится, ведь... Вот туты-ка только смерть каждую ночь навещает, в гости, слышь, зовет, на огонек, а так-то что...— И горькие дрожащие слезинки одна за другой быстро-быстро покатались по впалым пожелтевшим щекам.

— Ну, ничего, ничего, только бы до весны дотянуть... Мы с тобой еще пожием. Дам я тебе угол, коней, коров и вспоминай Степана Егоровича на здоровье,— заскрежетава зубами, ссутулясь, заходил он по землянке, заложив руки за спину.

— Дай бог.

— А ты пей медовуху, осталась. Хоть гуща, а зверь. Хряпни кружку и хватит. Я завтра еще заварю, жить так жить. Ну чего ты опять раскудахтался—пей. На, как рукой снимет хворь.

Но человек уже не слышал; из впалой груди вырвался тихий сдавленный стон, безжизненно повисли руки, и только раскуренная трубка еще продолжала вить кольцами едкий табачный дым.

...Млечный путь опоясал небо начищенным серебристым поясом. Крупные яркие звезды мерцают в морозном небе. Тишина робко охватила небольшую деревеньку, которая сиротливо приютилась у тайги. Окна занесенных домов светились, перемигиваясь с далекими звездами и маня запоздалого утомленного путника.

Человек закрыл глаза, полные слез, жадно втягивая колючий воздух. Опущенные ресницы слипались, и тогда звезды протягивали к нему тонкие блестящие нити, как бы стремясь поднять его к себе и показать величие жизни.

Да, здесь он был когда-то хозяином, властным и богатым. Теперь этот человек уже не мог бесчувственными глазами смотреть на мирную жизнь, в нем, в его душе, в его крови шла борьба—сдаться или биться до последнего патрона.

— Может, пойти сдаться? Зачем я теперь жгу, убиваю. Зачем отощавшим, затравленным волком брожу по голодной тайге, и люди, встречающиеся со мной, в испуге шарахаются в сторону.

Человек чувствовал, как невидимая петля все крепче и крепче сжимается вокруг него, и нет силы, которая могла бы остановить движение новой жизни. Неужели, думал он, в эти селенья пришла навсегда такая спокойная трудовая и счастливая жизнь. Неужели кончилось сопротивление, и люди сложили оружие.

Как ему хотелось зайти на огонек, поесть горячей, домашней пищи, поговорить с людьми, затем залезть на печь и спокойно заснуть.

Вдруг громко заскрипели ворота, заговорили возбужденные голоса, жалобно заблеяли в кошаре овцы, звонко звякнул засов, залаяли встревоженные собаки. Человек вздрогнул и насторожился, долго вглядываясь в темноту.

У дворов равномерно скрипел снег под валенками сторожа, закутанного в теплый тулуп. Не спали собаки. Мирный труд и отдых людей охранялся. Человек, втянув шею, прислонился к дереву и заплакал. Никогда не было у него такой привязанности к жизни, как в эту минуту морозного вечера. Тяжело ступая широкими обшитыми лыжами, человек шагнул в мрачную тайгу, и она колючая, таящая страхи, поглотила его...

Через несколько дней у одного отдаленного стога сена нашли обглоданные кости, винтовку и стрелянные гильзы.

Владимир КУЧИЯК

ОШИБКА САЛАМЧИ

Горячее время уборки.
Никто не сидит на печи.
И в новом алтайском поселке
Осталась одна Саламчи.
Шагает с клюкою старуха.
Почудилась где-то гармонь.
И вдруг донеслося до слуха:
«... дверь не скрипнет,
не вспыхнет огонь...»

Ах, девушка петь мастерица!
Заслушаться можно...

A BOT

„Летят перелетные птицы“
Какой-то парнишка поет.
„Затею, наверное, ссору...
Ведь это, товарищи, что ж?..
В такую горячую пору
(Осталась в селе молодежь.
Им слишком уж песенки любы...“
Клюка закачалась в руке.
Подходит к колхозному клубу,
А клуб —

на висячем замке.

И стыдно
И радостно было:
Висел репродуктор вдали.
„По старости я и забыла,
Что радио нам провели“.

Перевел с алтайского
Иван ФРОЛОВ.

Василий КУРЗОВ.

* * *

Сквозь призму
Настоящих будней
Грядущее
Рисуется ясней.
И коль не в меру
Мне сегодня трудно,
Так ведь другим
Приходится трудней.
А жить,
До боли мускул напрягая,
Большое счастье
И большая честь.
Недаром в жилах
Кровь у нас играет,
А в сердце
Твердость ленинская есть.

Василий АЛТАЕВ.

Б И Я

Грохот. Шум. О камни бьется Бия,
Горная строптивая река.
Небеса над нею голубые
Гонят в край далекий облака,
Что плывут-плывут, как льдины, тая.
Видно, жизнь их слишком коротка.
А родная Бия, не смолкая,
Вечно будет биться в берега.
Нет, не зря напор упрямый вспенен
В долгой необузданной борьбе,
Мне б, как Бия, жизнь прожить без лени,
Чтоб не знать беспечности в судьбе.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КОМЕДИИ В. В. МАЯКОВСКОГО «БАНЯ»

Комедия В. В. Маяковского «Баня», созданная в 1929 году, явилась прямым откликом на принятие партией пятилетки по строительству социализма, наметившей грандиозный план вооружения промышленности и сельского хозяйства СССР современной техникой. Своей пьесой Маяковский утверждал темпы, небывалый размах героического строительства в молодой советской стране, определенные первым пятилетним планом. Маяковский стремился сделать театр «ареной для пропаганды пятилетки» и звал к быстрейшему осуществлению ее планов.

Вперед
непрерывным
полным ходом.
Выполним пятилетку
в четыре года.

Вся пьеса проникнута пафосом утверждения созидательного размаха советской страны, её устремленности в коммунизм. Этому подчинено и главное, стержневое событие пьесы — изобретение машины времени, являющейся символом небывалых темпов социалистического строительства.

«Баня» в творчестве Маяковского не стоит особняком. Она является своеобразным итогом, обобщением в постановке и разрешении многих вопросов, которые поднимались поэтом на протяжении всей его творческой деятельности совет-

ского периода. Многие из того, о чем поэт говорил в своих произведениях в разные годы, то, что он утверждал и против чего решительно боролся, находит свое концентрированное выражение в идеях и образах «Бани». В этом драматургическом произведении нашли широкое выражение и те присущие Маяковскому особенности и приемы, которые определяют яркую творческую индивидуальность поэта. Гнев сатирика, страстный пафос публициста и вдохновенный голос певца социалистического отечества, устремленного в коммунизм, слиты в этом произведении в единый пафос утверждения энтузиазма, героизма строителей социализма и обличения косности, бюрократизма, мещанства. Все это дает основание рассматривать «Баню» в тесной связи со всем творчеством Маяковского, представляющим собой богатейший подтекст для более глубокого понимания этого оригинального драматургического произведения.

Маяковский в изображении действительности шел непосредственно от самой жизни. Он был непримирим к тем, кто пытался накидывать старую форму на новое содержание. «Все учебники поэзии для Шенгели вредны потому, — писал поэт в статье «Как делать стихи?», — что они не выводят поэзию из материала, т. е. не дают эссенции фактов, не сжимают фактов до того, пока не получится пресованное, сжатое, экономное слово, а про-

сто накидывают какую-нибудь старую форму на новый факт». (т. 10, стр 229).

Маяковскому, поэту-новатору, менее всего была свойственна манера писать по готовым рецептам. Сама жизнь в ее разнообразных проявлениях определяла художественные средства, приемы, форму его произведений. Вот почему одной из характернейших черт Маяковского является жанровое разнообразие не только всего его творчества в целом, но и отдельных произведений, как больших так и малых по объему.

В поэме «Владимир Ильич Ленин», при всей ее эпичности, очень сильны лирические мотивы, выразителен публицистический пафос. В поэме «Хорошо!», наряду с эпосом и лирикой, отчетливо выражается сатирическая направленность, публицистическая острота, а в отдельных главах явные признаки драматизации действия, например, разговор Милюкова с Кусковой, адъютанта и штабс-капитана Попова. В широко известном сатирическом стихотворении «Прозаседавшие» нельзя не видеть яркого лирического начала. Весь ужас бюрократической сущности в этом стихотворении дан через восприятие лирического героя, делающего вывод о необходимости «искоренения» всех заседаний.

Одной из особенностей Маяковского — поэта является его ориентация на непосредственное восприятие стихов аудиторией, слушателями. «Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, — писал Маяковский, — к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой — это аудитория, эстрада, голос, непосредственная речь.

Надо в зависимости от аудитории брать интонацию — убеждающую или просительную, приказывающую или прошающую». (т. 10, стр. 243).

Отсюда у Маяковского своеобразные ораторские мотивы, наполняющие его стих необычайной силой воздействия на аудиторию и дающие возможность не только представить себе эту аудиторию, но порой и почувствовать ее состояние, ее характер.

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

(Т. 2, стр. 391).

Но как бы ни были разнообразны жанровые признаки и способы выражения в поэзии Маяковского, они никогда не несли в себе самодовлеющего начала, а всегда способствовали наиболее сильному и острому раскрытию идеи произведения, сливаясь в единую форму, выразительную и свежую.

Жанровое разнообразие, свойственное поэзии Маяковского, характеризует и его драматургию, в частности, лучшую его пьесу «Баня», в которой юмор сочетается с острыми драматическими ситуациями, гневный обличительный пафос с подлинным героизмом, тонкий лиризм — с публицистической страстностью, фантастика — с живой действительностью, политические идеи — с цирком и фейерверком.

В «Бане», как и в стихах Маяковского, отчетливо раскрываются симпатии и антипатии поэта, выразительно проявляет себя его «грогада — любовь» и «грогада — ненависть». Но указать отдельные жанровые признаки пьесы — это еще не значит определить её жанр. Как бы ни было широко жанровое разнообразие приемов изображения действительности, всегда в драматургическом произведении, как и в любом другом, какие-нибудь жанровые начала вырисовываются ярче других, являются важнейшими, наиболее способствующими раскрытию основной идеи.

Маяковский назвал «Баню» драмой в шести действиях с цирком и фейерверком». Следует отметить, что определение жанра пьесы самим автором не считалось делом простым и очевидным. Черновые варианты свидетельствуют о том, что Маяковский в процессе работы не раз изменял свое мнение о жанре пьесы. Так, в автографе «Баня» вначале имела подзаголовок «драм-ком», что означало, очевидно, «драма-комедия». Но такое определение жанра, видимо, не удовлетворяло Маяковского. На 35 странице авто-

графа сверху сделана приписка: «Драма с цирком и фейерверком». Едва ли можно утверждать, что такое определение жанра «Бани» было для автора окончательным, неоспоримым. Он его не вписал даже в подзаголовок в автографе, хотя и зачеркнул прежнее определение жанра «драм-ком». Более того, не внес Маяковский этого нового определения вначале и в экземпляр, представленный в Главный комитет по контролю за репертуаром. «Баня» в этом экземпляре вначале называлась пьесой в 6 действиях. Затем в текст был внесен Маяковским ряд поправок. В том числе и поправка в подзаголовке пьесы, в результате чего «Баня» стала называться «драмой в 6 действиях с цирком и фейерверком».

С таким подзаголовком пьеса шла в театре Мейерхольда, так она вышла в свет отдельным изданием уже после смерти Маяковского и вошла в историю литературы.

Разберемся в особенностях жанрового определения, данного самим Маяковским. «Баня» — драма, но драма не совсем обычная, на что указывает наличие в ней цирка и фейерверка. Как цирк, так и фейерверк прежде всего связаны с усилением зрелищных средств пьесы, ее зрелищного воздействия. Но этим их функция не ограничивается. И цирк и фейерверк играют определенную роль в разрешении конфликта, в развитии действия.

Цирковые моменты в «Бане» выполняют функцию пародии на драматическое представление. И циркаческие действия «так называемого товарища Победоносикова», и «отдохновенная пантомима» на тему — «труд и капитал—актеров напичкал» — построены на комических приемах. Эти сцены вызывают смех нелепыми действиями режиссера с его стремлением свести живое изображение действительности к условным схемам, к «символическим картинам», к абстракции.

Маяковский резко полемизирует с Победоносиковым по вопросам искусства. Восторг, с которым главнаппус воспри-

нимает «отдохновенную пантомиму», свидетельствует о том, что такое «искусство» по душе бюрократу, а его реплика о самокритике до конца обнажает стремление задушить все живое, в каких бы формах оно ни проявлялось, наложить на него печать символизма и безжизненности.

Нельзя не видеть в этом острую полемику Маяковского с пролеткультовскими принципами в театре, с их «социальными масками», с их извращенными представлениями о «новаторском» искусстве, «когда сплошь и рядом самое нелепое кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное».¹

В книге Б. Ростокского «Маяковский и театр» приводится восторженное описание режиссером А. А. Мгебровым финала постановки пьесы П. Козлова «Легенда о коммунаре» в театре петроградского пролеткульта: «Апофеоз разыгрывался на срытой, а местами совершенно пирамидальной площадке. На самом верху... стоял Коммунар. А вокруг него — десятки юных лиц, молодых и сияющих, в светлых одеждах, с гирляндами цветов в руках и такие же юноши с золотыми серпами и молотами. Вся сцена заливалась ярким светом. В этом свете сверкали золотые колосья, цветы и гирлянды, и море алых знамен... все девушки и юноши протягивали навстречу друг другу руки и молоты, серпы и золотые колосья скрещивались над головами... Весь эпизод заканчивался... музыкой, пением и, наконец, — танцем труда, который был специально разработан нами. Танец же труда переходил под конец в живую картину».²)

Нетрудно заметить, что «отдохновенная пантомима» на тему «Труд и капитал—актеров напичкал» в третьем действии «Бани» имеет много общего с приведенным описанием финала «Легенды о коммунаре» в театре Пролеткульта. Становится совершенно ясным, в чей адрес направлена сатира Маяковского. Она

¹) В. И. Ленин, Соч. т. 29 стр. 308

²) Б. Ростокский, В. Маяковский и театр. «Искусство», 1952, стр. 305

бьет по псевдо-революционной сущности пролеткультовского «искусства», далекого от жизни народа и его интересов.

Но было бы неверным сводить назначение «отдохновенной пантомимы» в «Бане» к пародированию только театра Пролеткульта. Маяковский средствами циркового представления высмеивал также и рапповские установки в театре, их «диалектико-материалистический творческий метод в литературе», который подменял искусство системой абстракций и схем, системой отвлеченных понятий.

Таким образом, цирк в «Бане» подчинен определенным задачам, связанным с разоблачением глубоко порочных взглядов на искусство, насаждавшихся в 20-х гг. отдельными литературными группами под видом «нового», «пролетарского» искусства. Основным средством разоблачения в этом цирке является смех над уродливыми представлениями о назначении и роли искусства в жизни общества. Следовательно, цирк в «Бане» выполняет функцию комедийно-сатирическую.

Фейерверк в пьесе связан с мотивами будущего. Первый раз бенгальский огонь вспыхивает при получении письма из коммунистического века, второй раз — при появлении Фосфорической женщины, третий раз — при отправлении машины времени в коммунизм. Каждая вспышка фейерверка является торжественным завершением трудовых подвигов энтузиастов, их героической борьбы с бюрократизмом на определенном этапе развития действия, фейерверк оттеняет героический пафос «Бани», усиливает мотив неодолимости нового, революционного и подчеркивает неизбежность краха всего того, что стало препятствием на пути строителей коммунизма.

Выяснив в общих чертах значение и роль цирка и фейерверка, данных автором в подзаголовке, перейдем к рассмотрению того, что Маяковский считает решающим в определении жанра пьесы — к драме. Следует сказать, что драматические мотивы действительно сильны в пьесе. Драма предполагает столкновение положительных героев с отрицательными. В «Бане» Чудаков, Поля, Ундертон,

Ночкин вступают в столкновение с Победоносиковым, и каждый из них по-своему испытывает на себе его бесчеловечный характер, его тупое равнодушие в отношении к человеку, каждый по-своему испытывает драму. В отдельных моментах столкновение с Победоносиковым доходит до трагической безысходности. Характерна в этом отношении сцена сборов главначпупса на курорт. Наглость издевательство Победоносикова над Полей, ее бессилие защитить себя придает действию оттенок подлинной трагедийности.

Наличие драматических и трагедийных моментов придает пьесе особое напряжение в развитии конфликта, но в целом пьеса не может быть названа ни драмой, ни трагедией, так как основным средством разрешения конфликта, средством разоблачения бюрократизма является в ней смех, комизм. Именно для этого автор широко использует в пьесе приемы, свойственные комедийному жанру.

Маяковский, мотивируя название «Бани» драмой, говорил: «...разве мало бюрократов, и разве это не драма нашего Союза?» Пережитки бюрократизма действительно являются «драмой» нашей страны. Но бюрократизм как социальное явление может быть изображен по-разному. Исходя из характера этого изображения, мы и должны определять жанр произведения.

В пьесе «Баня» бюрократизм показан обреченным, лишенным права на дальнейшее существование, лишенным будущего. Для бюрократов такой исход действительно является драмой, даже трагедией, но для советской страны гибель бюрократов это вовсе не трагедия, а торжество, и не случайно крах Победоносикова и его окружения в пьесе завершается фейерверком.

К. Маркс указывал, что сама жизнь, непрерывно развивающаяся, делает устаревшее, отжившее объектом для осмеяния: «История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда несет в могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия... За чем так движется история? Затем, чтобы

человечество смеясь расставалось со своим прошлым».¹

Таким образом, само расставание с бюрократизмом как пережитком прошлого, как «устаревшей формой жизни» под сияющие огни фейерверка несет в себе комическое начало.

Посмотрим на изображение бюрократизма с другой стороны. Не вызывают ли бюрократы и приспособленцы в силу своей обреченности сочувствия, способного придать событиям оттенок трагичности?

Маяковский в таких обстоятельствах и так раскрывает характеры Победоносикова, Оптимистенко, Ивана Ивановича и других отрицательных персонажей, прибегая к заострению, сознательному преувеличению, к гротеску, что зритель от души смеется над тупостью и ничтожеством бюрократов и обывателей.

Уже первая реплика Оптимистенко в заключительной части последнего действия «Слезай, приехали!» наполнена комическим содержанием. Она исключает возможность какого бы то ни было грустного раздумья о трагической судьбе отброшенных временем людей. Завязавшийся далее спор Оптимистенко с Победоносиковым о подаренных секретарем часам главначпупсу усиливает комическое звучание, которое все более и более возрастает с каждой новой репликой покидающих Победоносикова его бывших приверженцев.

Конец «Бани» трагичен для Победоносикова. Главначпупс отброшен машиной времени, покинут женой. От него отвернулись Оптимистенко, Бельведонский, а затем Мезальянсова. И тем не менее эта сцена вызывает едкий, бичующий смех. «Самое трагическое, — писал Чернышевский, — обращается в комическое тогда, когда остается пустою претензией»²). Победоносиков смешон потому, что он не осознает своей трагедии и пытается еще претендовать на роль вождя, крупного государственного деятеля. Будучи жалким, раздавленным колесом ма-

шины времени, он угрожает тем, кто отправился в коммунизм без него — главначпупса. «Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил. Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания».

Таким образом, самые напряженные моменты в разрешении ведущей темы, моменты, полные драматизма, несут в себе смешное, комическое содержание. Следовательно, драматическое начало в пьесе подчинено комическому, служит средством его усиления, средством осмеяния всего отживающего, уходящего.

Наряду с моментами драматизма в «Бане» имеется и трагическое начало. Оно, главным образом, связано с характерами Поли и Ундертон. Первая является жертвой самодурства Победоносикова в семье, последняя — жертвой его самодурства в учреждении. Их положение действительно трагично. Но трагическое начало так же, как и драматическое, не является ведущим, определяющим жанр пьесы. Оно также подчинено главному, основному — разительному смеху — «одному из самых сильных, — как говорил Герцен — орудий против всего, что отжило и еще держится бог знает на чем важной развалиной, мешая расти светлой жизни и пугая слабых».³

Поля и машинистка Ундертон действительно слабые и действительно запуганы мнимым величием Победоносикова. «Конечно, там у вас все важные... с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду...» — говорит Ундертон, прося Фосфорическую женщину взять ее в коммунизм.

Главными, определяющими признаками пьесы являются признаки комедийно-сатирические, дающие основание определить в общих чертах жанр «Бани» как сатирическую комедию, со всеми ее возможностями и приемами осмеяния пороков и пережитков. Вместе с тем, следует отметить, что Маяковский смело вводит в комедию моменты драмы и трагедии,

1) Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, 1938, стр. 389.

2) Н. Г. Чернышевский, Избранные философские сочинения, 1950, стр. 288.

3) Герцен, Об искусстве. «Искусство», Москва, 1954, стр. 223.

посредством чего добивался глубокого и разностороннего изображения характеров и жизненных явлений, отобранных им для художественного раскрытия идеи утверждения грандиозного размаха социалистического строительства и беспощадного обличения застоя, косности, рутины как злостных врагов советского общества.

Интересно заметить, что В. Ермилов, говоря о новизне принципа комического в драматургии Чехова, видит ее в «сочетании трагического и драматического с комическим».¹

«Комическое и драматическое, комическое и трагическое, комическое и лирическое, в понимании Чехова, не противостоят одно другому, а естественно сливаются друг с другом, являясь равными сторонами одного целого — самой жизни».²

Сила больших художников заключается в том, что они, создавая произведения, шли от жизни, от действительности, а она, эта действительность, определяла средства, приемы художественного изображения, определяла жанровое своеобразие. В этом и заключается художественная ценность произведений великих писателей. А то, что является поистине художественным, не может не быть новаторским. Вот почему каждый большой художник является новатором.

Большим художником, писателем-новатором был и Маяковский. Он, как и другие выдающиеся мастера, шел от самой действительности, что и обусловило смелость его драматургических приемов, необычное жанровое разнообразие.

Сатирическая комедия, как и сатира вообще, не отрицает положительного идеала, а предполагает его... «Для того, чтоб сатира была действительно сатирой и достигала своей цели, — говорил Салтыков-Щедрин, — надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и во-вторых, чтоб она вполне яс-

но сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало».³

Таким образом, наличие положительного идеала в «Бане» несколько не противоречит ее комедийно-сатирическому жанру. Тем не менее определение пьесы как сатирической комедии не охватывает своеобразия жанра. Положительный идеал в «Бане» не только обозначен, намечен, но он ярко выражен и занимает в пьесе, наряду с сатирическим осмеянием бюрократов и мещан, важнейшее место и требует специальной оговорки в определении жанра. Основным средством выражения положительного идеала, утверждающего пафоса пьесы является изображение героического труда советских людей, их устремленности в коммунистическое будущее. Следовательно, наряду с сатирическим осмеянием в пьесе необходимо отметить и другое выразительное начало — героизм, рожденную самой жизнью советского общества. Не оттенив этой особенности пьесы, мы не сможем почувствовать различия в жанре между сатирической комедией Гоголя «Ревизор» и пьесой Маяковского «Баня». А между тем различие есть, и очень существенное.

В обеих пьесах основным орудием борьбы с пороками является гневный смех. Мы смеемся над городничим, Хлестаковым, Добчинским, Бобчинским и т. д., смеемся мы и над Победоносиковым, Оптимистенко, Бельведонским. Но в «Ревизоре» мы смеемся над чиновниками, которые сами себя поставили в смешное положение, приняв мелкого столичного чиновника за ревизора, а в «Бане» мы смеемся над бюрократами и обывателями, которых в смешное положение поставили советские люди — строители коммунизма. В комедии Гоголя действуют только отрицательные персонажи. В комедии Маяковского наряду с отрицательными действуют положительные персонажи — истинные выразители того нового, что несет в себе советская действительность. В комедии Гоголя смех является только

1) В. Ермилов, Драматургия Чехова. «Советский писатель», М., 1948, стр. 134

2) Там же, стр. 132.

3) Русские писатели о литературном труде. «Советский писатель», Л., 1955, т. 2, стр. 678.

средством обличения, в «Бане» Маяковского смех помимо обличения выполняет и другие задачи. Речь идет о том смехе, который исходит от положительных героев и разделяется читателями и зрителями. Этот смех сопутствует деловым разговорам строителей коммунизма, их решению серьезных вопросов, связанных с жизнью страны, сопутствует героической борьбе энтузиастов с косностью и рутинной. Бодрый смех в пьесе является выражением присущего народу остроумия, юмора и жизнерадостности, его веры в свои силы, веры в конечную победу над бюрократизмом и мещанством. Победоносикову и его окружению, как и персонажам «Ревизора», не доступен такой смех, так как они по самой своей природе чужды народному духу, его устремлениям.

И Гоголь и Маяковский в изображении действительности шли от самой жизни. «Гоголь не нашел и даже не пожелал искать добродетельных людей ни среди чиновников, ни среди каких-нибудь патриархальных помещиков, ни среди молодежи, еще не испорченной службой.»¹ Гоголь изображал типические, наиболее характерные стороны современной ему действительности и тем самым вскрывал сущность самодержавно-бюрократического строя, его антинародный характер.

Объектом изображения Маяковского была другая действительность — советский строй, отвечающий кровным интересам трудового народа, другая жизнь, полная кипучей деятельности и героических подвигов во имя прекрасного будущего, создаваемого усилиями широчайших народных масс, ставших хозяевами жизни. Маяковский как писатель, вооруженный передовым, марксистско-ленинским мировоззрением, при изображении советской действительности не только исходил из положительного идеала, но и рисовал этот идеал, рисовал людей, вступивших в борьбу со старым, отживающим, тормозящим движение общества вперед. В этом его сила, этим он, творчески продолжая лучшие классические традиции, вместе с тем, качественно отли-

чается от своих предшественников и, в частности, от Гоголя.

Все это дает основание особо подчеркнуть положительное, героическое начало в «Бане» и отразить его при определении жанра пьесы. Следовательно, сатирико-комедийное начало в сочетании с героическим пафосом и выражают важнейшие особенности жанра «Бани» Маяковского.

При этом нельзя пройти мимо еще одной характернейшей стороны пьесы, придавшей своеобразие ее жанру, — публицистичности. Неутомимый борец за идею коммунизма, «агитатор, горлан, главарь», Маяковский создавал произведения, полные подлинной страстности, воинствующей партийности. Каждое его произведение, будь это агитка или лирическое стихотворение, четко выражает революционные взгляды певца социалистического отечества. Горячая убежденность и страстность, с которыми поэт обличает пережитки в сознании людей и утверждает передовое, революционное, определяет публицистический характер его творчества.

Маяковский стремился подчинить свое перо задачам сегодняшнего дня, задачам партии. Выступая 15 октября 1927 г. на диспуте о политике Совкино, Маяковский говорил: «Говорят, что вот Маяковский видите ли поэт, так пусть сидит на своей поэтической лавочке... Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее — советскому правительству.

Я хочу сделать свое слово проводником идей сегодня» (т. 11, стр. 502). Этим же задачам Маяковский стремился подчинить и театр, сделать его трибуной для агитации. Он призывал театр «служить коммунистической пропаганде» и в своей драматургической работе неуклонно руководствовался этим принципом.

Маяковский называл «Баню» «вещью публицистической». Ее публицистичность заключается не только в открытом выражении симпатий и антипатий к персона-

¹ Г. Н. Поспелов. Творчество Н. В. Гоголя. Учпедгиз, М., 1953, стр. 133.

жам пьесы, не только в страстном утверждении передовых идей и обличении пережитков, но и в своеобразном месте самого драматурга, в активном вмешательстве его в действие, в его столкновении с отрицательными персонажами.

Драма, как известно, имеет свои особенности, в силу которых автор, как правило, представляет полную свободу действий своим героям (по-своему, по-авторски управляя ими), но сам не принимает непосредственного участия в действии. Сохраняя принципы драматического жанра, Маяковский нашел новую форму выражения своих симпатий и антипатий по отношению к героям, прибегая к плакатам, которые усиливают публицистический пафос пьесы, составляя одну из сторон ее подлинного новаторства.

С позиций страстной защиты энтузиазма новаторов—строителей новой жизни Маяковский беспощадно обличает бюрократизм и рутину, мещанство и застой. Так пламенная агитация и подлинная героика соединяется с грозным смехом, развенчивающим бюрократов и приспособленцев, подхалимов и низкопоклонников.

При определении жанра «Бани» необходимо исходить как раз из этих ее важнейших особенностей. Именно они определяют в пьесе приемы и средства изображения действительности. Что же касается других жанровых элементов, то они выполняют подчиненную роль. Так, цирковые элементы в пьесе служат целям комедийно-сатирического обличения бюрократических взглядов на назначение искусства в жизни общества; фейерверк, как говорилось выше, оттеняет и усиливает героический пафос «Бани». Этой же цели усиления героического пафоса служат и элементы фантастики, которая подчеркивает неизбежность гибели бюрократов и обывателей и утверждает героике энтузиастов, их устремленность в коммунистическое будущее.

Таким образом, при определении жанра «Бани» следует учитывать не только присущие ей явные признаки сатириче-

ской комедии, но и ее ярко выраженный героический пафос.

Жанр произведения определяется его содержанием, идейно-тематической задачей, особенностями развития действия и раскрытия художественных образов. Непосредственно же, зримо, наглядно жанр проявляется в родовых признаках того или иного произведения и в его эмоционально-оценочных оттенках, которые в своей совокупности, в своем единстве дают возможность писателю раскрыть общий характер содержания произведения.

Чем шире и сложнее круг вопросов, проблем, отобранных писателем для изображения действительности, чем глубже и многостороннее хочет он раскрыть их, тем, очевидно, многограннее будет та самая общая, если так можно сказать, форма с точки зрения наличия в ней различных родовых и эмоционально-оценочных признаков.

Конечно, при определении жанра нельзя охватить всех признаков как родовых, так и эмоционально-оценочных, но самые выразительные, существенные, способствующие наиболее яркому раскрытию содержания, должны быть учтены и положены в основу оценки жанра.

Б. Ростокский считает, что определение жанра «Бани», данное Маяковским, является «точным и метким».¹ Он подчеркивает, что в отличие от «Клопа», «Баня» названа драмой с цирком и фейерверком.

Соглашаясь с тем, что «Баня» отличается от «Клопа» более широким идейным кругом, усилением пафосно-лирических элементов, жанровым разнообразием приемов развертывания действия, мы не можем пройти мимо того факта, что обе пьесы имеют немало и общих черт. Прежде всего, эта общность заключается в обличительной силе смеха, в том, что смех и в той и в другой пьесе является основным средством разоблачения отрицательных персонажей, главным орудием борьбы со старым, отживающим. Маяковский казнит грозным смехом и Присыпкина и Победоносикова. В этом нель-

¹) Б. Ростокский, Маяковский и театр. Государственное издательство «Искусство», Москва, 1952, стр. 236.

зя не видеть сходства двух пьес в основном, наиболее выразительном, ведущем оценочном начале. Нельзя, конечно, отождествлять жанр «Бани» с жанром «Клопа». Каждая пьеса имеет свои жанровые особенности, но нельзя и противопоставлять их. Б. Росточкий видит отличие «Клопа» от «Бани» в том, что в первой пьесе Маяковский «перевел тему борьбы с мещанским засилием, борьбы против «быта кобылы» в план комедийно-сатирический, даже балаганно-буффонный, выдвинув ее на первое место. В «Бане» линия сатирическая лишь дополняет основную, пафосно утверждающую устремленность пьесы»¹.

Вряд ли с этим можно согласиться. Отводить сатирическому обличению бюрократизма и мещанства какую-то дополнительную, второстепенную роль — значит снижать значение «Бани», ослаблять ее разительную силу.

Отодвинув сатирическую линию «Бани» на второй план, Б. Росточкий недооценил силы смеха Маяковского, не увидел того, что этот смех является основным средством борьбы со старым. Это и привело критика к недооценке комического начала пьесы, ее сильного сатирического звучания, отмеченного уже самим ее названием, смысл которого так просто и ясно раскрыл Маяковский: «Баня» — моет (просто стирает) бюрократов» (т. 11, стр. 430).

На комедийно-сатирическую общность «Клопа» и «Бани» указывал и сам Маяковский, называя обе пьесы комедиями

Подмяв моих комедий глыбы,
Сидит главрепертком Гандурин²

(т. 10, стр. 157).

И это нельзя принимать за случайную оговорку, так как такое определение жанра «Бани» является у Маяковского не единственным. В одном из лозунгов для спектакля «Бани» прямо говорится:

«Комедия
неприемлема
в виде таком».

Сказали
и
головой покачали.
Уважаемый
товарищ Главрепертком.
Заходите
не в конце,
а в начале.
(т. 11, стр. 400—401).

В другом лозунге, полном злой, обличительной иронии по отношению к папе римскому, речь также идет о комедийном жанре:

Ступись,
острия
комедийных шил,
Комедии
в страшном риске, —
нотами
всех комедиантов
пересмешил
комик —
папа римский.
(т. 11, стр. 403).

Таким образом, хотя Маяковский и назвал «Баню» «драмой с цирком и фейерверком», тем не менее он не отказывался и от определения ее жанра как комедии. В связи с этим следует обратить особое внимание на комментарий к «Бане» А. Февральского, который свидетельствует о том, что «первоначально — в постановочном договоре, заключенном Маяковским с театром 5 октября, — пьеса определялась как «феерическая комедия с цирком и фейерверком»³.

Это свидетельство лишний раз подчеркивает тот факт, что для самого Маяковского наличие сходных элементов в «Клопе» и «Бане» было совершенно очевидным. «Баню» от «Клопа» отделяет промежуток времени примерно в десять месяцев. «Клоп» был закончен в декабре 1928 года, а «Баня» в сентябре следующего года. Обе пьесы писались в момент наивысшего проявления творческого таланта Маяковского, в тот период, когда

1) Б. Росточкий. Маяковский и театр. Государственное издательство «Искусство», Москва, 1952, стр. 236.

2) Говоря о комедиях, Маяковский имел в виду «Клопа» и «Баню».

3) Т. 11, стр. 556. Комментарий А. Февральского к «Бане».

окончательно определились его взгляды на искусство вообще и на театр в частности. В связи с этим нам представляется интересным сопоставление двух пьес с целью выявления некоторых общих драматургических принципов Маяковского и выяснения жанровых особенностей его последних пьес.

Пьеса «Клоп» определена Маяковским как «феерическая комедия». Феерическое представление, как известно, связано с фантастическим сюжетом, со зрелищными эффектами и предполагает наряду с драматическими элементами элементы оперного и балетного искусства. Все это в какой-то мере имеет место в «Клопе». Элементы фантастики в пьесе занимают важное место. Вся вторая половина ее связана с фантастическим изображением будущего общества. В VII картине появляются девушка, у которой «ноги заплетаются в па фокстрота и чарльстона», и тридцать танцующих гёрлс.

В пьесе много музыки. Все это безусловно соответствует определению, данному Маяковским, и накладывает известный отпечаток на жанр «Клопа», указывая на отличие его от жанра «Бани». Вместе с тем отмеченные особенности «Клопа» дают возможность говорить и о некоторой общности драматургических приемов Маяковского, проявившихся в обеих пьесах. Прежде всего, их сближает наличие фантастических мотивов. В первой пьесе они выражены более сильно, во второй менее сильно. В «Клопе» они подчинены задачам наиболее глубокого разоблачения мещанства, в «Бане» их функция прежде всего связана с утверждением героического пафоса пьесы. В «Клопе» автор переносит своего героя в будущее и тем самым окончательно развенчивает его, низводя до положения клопа, в «Бане» из будущего приезжает Фосфорическая женщина и видит в строителях социализма черты, роднящие их с людьми коммунистического века.

В «Клопе» комедийно-сатирическое начало подчиняет себе другие жанровые элементы. В «Бане» же злая сатира — это только одна сторона пьесы. Выступая на обсуждении «Бани» 4 декабря 1929 года, Маяковский говорил о том, что «...

хочется дать, особенно в эпоху пятилетнего строительства, дать не только критическую вещь, но и бодрый, восторженный отчет, как строит социализм рабочий класс». (т. II, стр. 509).

Этот «восторженный отчет» и определяет другую сторону пьесы — героическую. В «Бане» наличие оттенков других жанров, различных приемов служит не только задачам сатирического обличения, но и целям утверждения героического пафоса.

Фантастика в «Бане» более реальна, чем в «Клопе». Идея машины времени рождена темпами строительства, она выражает в заостренном виде дух самой эпохи, новую психологию новых людей, почувствовавших в себе такую силу, которая не знает пределов. Фантастический мотив, связанный с машиной времени, усиливает героический пафос «Бани», в которой обличение тесно связано с утверждением. Эти две стороны пьесы оттеняют одна другую, каждая из них способствует наиболее яркому проявлению противоположной стороны. В сравнении с мелкими, корыстными помыслами победоносиковых, строители социализма становятся еще величественнее, еще чище и, наоборот, героизм Чудакова, Велосипедкина, Фоскина резче оттеняет обывательскую, потребительскую натуру победоносиковского лагеря. Таким образом, фантастика, с одной стороны, сближает пьесы, с другой стороны, отличает их своей функцией, своим назначением.

В «Бане» нет балета, значительно меньше музыки, чем в «Клопе». Зато в ней есть цирк. Это дает основание говорить о смелом введении Маяковским элементов других видов сценического искусства в драматургическое произведение, что опять-таки и сближает пьесы в общих принципах драматургической организации и отличает друг от друга в конкретном использовании различных видов искусства в каждой пьесе в отдельности.

Как в той, так и в другой пьесе имеются зрелищные эффекты. В «Клопе» они выражаются в картине пожара, в «Бане» в фейерверке. В первой пьесе зрелищный эффект символизирует гибель мещанства, во второй пьесе фейерверк связан с мо-

тивами будущего, что также выражает и общность обеих пьес и их различие.

Сходство и отличие двух пьес Маяковского наблюдается и в других характерных особенностях. Как в «Клопе», так и в «Бане» имеются элементы драматизма, комизма. В обеих пьесах наряду с отрицательными персонажами действуют и положительные. Но в первой пьесе основное внимание автора сосредоточено на обличении мещанства и главным его носителем Присыпкине. Положительные персонажи «Клопа» безусловно играют в пьесе значительную роль, тем не менее их изображение подчинено основному пафосу произведения — пафосу обличительному. Реплики положительных персонажей острые, бичующие, бьющие по мещанству, но все-таки молодые рабочие не стали в пьесе той силой, которая была бы способна противостоять Присыпкину и его окружению. Это связано не с тем, что Маяковский не видел этой силы в действительности, а с тем, что основной своей задачей он ставил разоблачение мещанства. Поэтому-то он и сосредоточил все внимание на Присыпкине, как на носителе наиболее существенных качеств, признаков мещанской психологии. Отсюда и основной пафос, основная идея «Клопа» — обличение мещанства. Маяковский зло смеется над Присыпкиным, издевается над ним, казнит своего героя разительным смехом. Этим же задачам подчинены и другие жанровые элементы. Следовательно, основными, решающими жанровыми признаками пьесы «Клоп» являются признаки сатирической комедии.

Если в «Клопе» изображение молодых строителей социализма было только намечено и не получило должного развития, то в «Бане» лагерь энтузиастов, лагерь борцов за новую жизнь представляет собой могучую силу, способную преодолеть все преграды и препятствия на пути к коммунизму. Этот лагерь вступает в решительную борьбу с бюрократами и обывателями и одерживает над ними победу. Это и определило в «Бане» наряду с обличительным пафосом пафос героический, пафос действенного утверждения нового, передового. Поэтому «Баня», в отличие от «Клопа», и определяет

ся нами как героико-сатирическая комедия.

Но при всем их жанровом различии нельзя не видеть и их жанрового сходства, которое заключается прежде всего в комедийно-сатирическом содержании, в использовании одних и тех же приемов, свойственных сатирической комедии, — заострения, сознательного преувеличения, доходящего до гротеска, и др.

Ведь Присыпкин не просто обыватель, а «обывателиус вульгарис», он «страшный человекообразный симулянт», «самый поразительный паразит», уподобленный клопу. То же самое мы видим и в Победоносикове. Он не просто бюрократ, а бюрократ поразительный, в нем нет ничего человеческого, оно вытеснено бюрократическим содержанием.

Сближает «Клопа» и «Баню» в жанровом отношении и наличие в них публицистического пафоса. Правда, Маяковский, выступая на одном из обсуждений «Бани», подчеркивал, что он старается «отказаться от некоторой голой публицистичности». (т. II, стр. 503). Эта «некоторая голая публицистичность», на наш взгляд, проявилась в «Клопе» в связи с тем, что Маяковский не сделал строителей социализма той силой, которая была бы в состоянии нанести сокрушительный удар мещанству. Окончательное разоблачение Присыпкина происходит во второй части «Клопа», где из молодых рабочих, действовавших в первой части, появляется на сцене одна Зоя Березкина, и то только для того, чтобы убедиться в ничтожестве своего бывшего возлюбленного. В связи с этим Маяковский вынужден был прибегнуть к тому, что он впоследствии назвал «голой публицистичностью». Таковой нам кажется речь директора зоосада: «Их двое—разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и... «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает под кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница!

Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнездо и домики, били жен и клялись Бебелем и отдыхали и благоденствовали в шатрах собственных галифе.» (т. II, стр. 308).

«Голая публицистичность» проявляется и в агитационных лозунгах пожарных:

(т. II, стр. 274—275).

В «Бане» тоже ярко выражен публицистический пафос. Он прежде всего проявляется в четко выраженном отношении к положительным и отрицательным персонажам, в выражении авторских симпатий и антипатий, на что указывал сам Маяковский: «что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет, у меня такой агитационный уклон, я не люблю, чтоб этого не понимали. Я

Но в «Бане» главная роль в борьбе с бюрократами и обывателями принадлежит положительным персонажам, энтузиастам, активным строителям социалистического общества, которым присущ наступательный порыв и непримиримость по отношению к пережиткам старого. Поэтому не было необходимости в той «голой публицистичности», которая в какой-то степени присуща «Клопу»

Уяснив некоторые особенности обоих пьес, мы можем сказать, что между «Клопом» и «Баней» в жанровом отношении много общего. Вместе с тем, жанр последней комедии Маяковского существенно отличается от жанра «Клопа». Это отличие, главным образом, заключается в сильном героическом пафосе «Бани», наличие которого создало определенные условия как для развития действия, так и для раскрытия характеров. Эту существенную сторону эмоционально-оценочного свойства мы и сочли необходимым подчеркнуть при определении жанра «Бани» в отличие от «Клопа». Если «Клоп» является сатирической комедией публицистического характера, то жанр «Бани» может быть определен как героико-сатирическая комедия с ярко выраженным публицистическим пафосом.

М. БОЧАРОВ.

ТЕМА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В АЛТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Победа Великой Октябрьской революции означала коренной перелом в истории человечества. Она перестроила материальную, экономическую сторону жизни, определила духовное развитие народа. Примером разрешения национального вопроса в нашей многонациональной стране может служить Горный Алтай. С победой Октябрьской революции алтайский народ расправил свои плечи и вздохнул свободно полной грудью. Горный Алтай из отсталого, неграмотного уголка превратился в культурную область, алтайский народ вышел на широкий путь экономического и культурного развития.

Октябрьская революция создала все условия для формирования и развития алтайской художественной литературы. Она, как и литература многих других малых народов нашей страны, является результатом великих социалистических преобразований.

В алтайской литературе нашло отражение счастье, радость советских людей, освобожденных Великим Октябрем от векового угнетения, а также великие изменения, которые произошли в нашей стране за годы Советской власти.

Характерной чертой алтайской художественной литературы послеоктябрьского периода является сопоставление тяжелого прошлого и светлого настоящего. Прошлое алтайского народа является как бы отправным пунктом сравнения тех достижений, которые завоеваны народом за годы Советской власти.

Алтайские писатели в своих произведениях раскрывают борьбу народов Горного Алтая за прекрасное будущее. Тематика произведений разнообразна. В них отражены подготовка и проведение Октябрьской революции, период гражданской войны, первые годы Советской власти. Эти темы были первыми темами в алтайской художественной литературе послеоктябрьского периода.

Горячим чувством и твердой уверенностью в победе над врагом, торжеством и радостью полны произведения алтайских поэтов, посвященные Великой Октябрьской социалистической революции. Так, П. В. Кучияк и Д. Юдаков создали замечательную легенду «Зажглась золотая заря», посвященную великим переменам, связанным с Октябрьской революцией. Золотая заря — это символ радости и счастья, символ осуществленной мечты, символ Октябрьской революции, открывшей новую эру в истории человечества:

На востоке зажглась золотая заря,
Солнце землю окинуло огненным взглядом.
И луна, серебристым узором горя,
Засияла с ним рядом.

Над Алтаем зажег золотую зарю Ленин — вождь Коммунистической партии и организатор Октябрьской революции. Он принес радость и счастье охотнику Анчи — герою легенды.

Октябрьская революция указала алтайскому народу единственно правиль-

ный путь освобождения от векового угнетения, показала, что народ может добиться свободы в том случае, если будет вести активную революционную борьбу против своих угнетателей. Эта борьба нашла отражение в пьесе П. В. Кучияка «Чейнеш». Здесь мы видим представителей двух классов — богатых и бедных, между которыми ведется трудная, упорная борьба в дореволюционном Алтае. Алтайскому народу в его борьбе помогает русский пролетариат. Так, рабочий Андрей Куреев еще до октябрьских событий вел революционную агитацию среди алтайцев, призывал их бороться с кровавыми баями Козуйтом, Куске-неком, Бөрөгөшем. Он приносит алтайцам весть об Октябрьской революции, говорит им о том, что «скоро будет другая власть — народная. За эту власть борются большевики». Эти слова Андрея Куреева поднимают бедняков на борьбу против своих угнетателей.

В годы гражданской войны Куреев вместе с бедняками-алтайцами Кара, Чейнеш ведет активную борьбу против белогвардейцев и колчаковщины, отстаивая завоевания Октябрьской революции. В этой борьбе победу одерживают представители трудового народа, которые сыграли решающую роль в годы Октябрьской революции и гражданской войны.

С темой революции и гражданской войны П. В. Кучияк связывает и свою поэму «Арбачи». В ней писатель показывает тяжелое положение женщин-алтаек до революции. Женщина была вещью, которую можно было купить и продать, ее насильно выдавали замуж, зачастую за малолетнего, чтобы приобрести рабочую силу для богатой семьи. Октябрьская революция освободила ее от угнетения и оскорбления.

Арбачи радостно воспринимает весть о революции, весть о том, что «грянул семнадцатый год!», что «сброшен царь — самый сильный кровавый зайсан», «генералам, буржуйам, купцам-обиралам грозный счет предъявил угнетенный народ».

Идея революции охватила самые широкие слои народных масс, она показала

народу пути борьбы за свое освобождение от многовекового угнетения. Поэтому Октябрьская революция была воспринята трудовым народом как необходимость, как близкое сердцу событие.

И когда враги «снова хотели скрутить руки народа», снова пытались установить старый режим на Алтае, тогда простые люди с винтовкой в руках выступили против баев и зайсанов, против белогвардейцев и каракорумцев, отстаивая великие завоевания Октябрьской революции в годы гражданской войны.

Автор с гневом обрушивается в поэме на врагов революции, которые обманым путем и угрозой пытались свернуть народ с правильного революционного пути и установить на Алтае режим каракорумцев:

Каракорумцы!, Зайсанские слуги!
Байская черная власть! Воронье!
Вы снова хотели скрутить наши руки
И пить нашу кровь. Проклянут навеки
Вас нашей Родины горные реки,
Цветы и свободные дети ее!

Алтайский народ с помощью русских трудящихся масс освободился от своих поработителей и угнетателей. Это освобождение стоило больших усилий, длительной борьбы и многих жертв.

Поэма «Арбачи» раскрывает народу великое значение Октябрьской революции и гражданской войны, агитирует за укрепление новой жизни.

Черные дела каракорумцев на Алтае П. В. Кучияк заклеил и в своем стихотворении «Аркыт» еще с большей силой гнева и страсти:

Словно черные ветры чумные, угрюмо
Камы были безумолку ночью и днем
Волки жадные вышли из Кара-Корума
На Аркыт собралось Колчака воронье

Каракорумцы жестоко расправлялись с каждым, кто выступал за новую жизнь. Расправа была настолько жестокой и бесчеловечной, что алтайский народ никогда этого не забудет, никогда не простит.

Против колчаковщины, против каракорумцев на Алтае поднялась волна

партизанского движения. На помощь алтайскому народу пришли русские товарищи. Алтайцы вместе с русскими в горах организовали партизанские отряды, при помощи которых они разгромили ненавистные народу белогвардейские орды, освободили Алтай и алтайцев от контрреволюционного каракорумского правительства и колчаковщины.

Наиболее полно, всесторонне история гражданской войны раскрыта в одной из лучших поэм Чагата-Строева «Кара-Корум».

«Кара-Корум» — это история борьбы партизанских отрядов с контрреволюционным каракорумским правительством на Алтае. Автор показывает идейных вдохновителей и организаторов каракорумского правительства — меньшевиков, эсеров, кадетов, колчаковцев в союзе с местными баями. Они обманывали народ, обещали строить фабрики и заводы, организовать «союз охотников», «союз пчеловодов». Враги говорили, что алтайцы не должны «кланяться» красной России, им будет помощь от Колчака и от Америки.

Белобандиты насильственным путем, путем угроз и пыток мобилизовали часть алтайского населения в отряды белых. Алтайцев призывали подчиниться Колчаку. Враги пытались не допускать отряды красногвардейцев на Алтай, стремились использовать отсталость и темноту алтайцев в борьбе с Советской властью, всячески восхваляли ставленников Колчака. Например, они говорили о Сатунине как о верном друге алтайского народа, как о благородном богатыре — защитнике алтайцев, посланном самим Ойрот-Ханом.

Автор ярко показывает, как враги ставили задачу отделить Алтай от России. С этой целью они пытались поссорить алтайцев с русскими, разжигая шовинистическую и националистическую рознь между ними, призывая алтайцев отстоять Алтай от «нашествия красных». Когда расчеты врагов провалились, тогда местные баи и каракорумцы пошли на другую хитрость: объявили, что в Москве, Петрограде победили белые, рево-

люция подавлена, в России установлена царская власть, и поэтому местные жители должны покорно подчиниться режиму каракорумцев.

Чагат-Строев в своей поэме действиям белогвардейцев противопоставляет красногвардейцев, защищающих интересы широких народных масс. Автор подчеркивает храбрость, стойкость рядовых партизан, организаторскую способность командиров (Долгих, Воронков), знающих цели и задачи борьбы, защищающих завоевания Октябрьской революции. В этом отношении в поэме характерным является замечательный подвиг партизанского отряда под командованием Долгих, который в чрезвычайно тяжелых условиях совершил героический переход через снежные вершины Яломанского хребта и разгромил банду Кайгородова в долине реки Катунь.

Партизанские отряды в годы гражданской войны, защищая великие завоевания Октября, в историю Алтая вписали ряд ярких, замечательных страниц.

Имена героев гражданской войны навечно останутся в памяти алтайского народа.

Значение поэмы, таким образом, состоит в том, что она наиболее ярко, последовательно отразила историю гражданской войны на Алтае, и является первым произведением в алтайской литературе, посвященным теме гражданской войны.

Тема Великой Октябрьской социалистической революции и связанные с ней перемены нашли свое отражение в произведениях алтайского писателя Ч. Чуннижекова, в стихах молодых поэтов: А. Саруевой, Л. Кокышева, Э. Палкина.

Октябрьская революция и гражданская война получили широкое отражение не только в творчестве отдельных писателей Горного Алтая, но и в устном поэтическом творчестве алтайцев, особенно в их песнях. Алтайские народные певцы слагают замечательные песни о новой жизни, о молодежи, о партизанах и Красной Армии, о Советской власти. В этих песнях звучат радость, счастье трудового народа, освобожденного Октябрем.

ской революцией. Так, старый пастух поет:

Я пою про Октябрьскую бурю,
Возродившую ясный день.
И о том, как на Яконуре
Стал расти золотой ячмень...
На земле Ябоганской пшеницы
Золотые шумят колосья

Все хорошее, передовое и прогрессивное в жизни народа связывается с победой Октябрьской революции, с ее коренными преобразованиями

Алтайцы посвящают свои лучшие произведения Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне и бережно охраняют великие достижения Советской власти.

Т. ТЮХТЕНЕВ.

О Г Л А В Л Е Н И Е

К. КОЗЛОВ. Ленин. Это было за Тунгуром.	3
В краю партизанском (стихи)	4
Е. ЧАПЫЕВ. Дума о родном Алтае (стихи)	4
И. ШОДОЕВ. Челекей Апаятов (очерк)	6
А. РЯБИНИН, А. ФЕДОРОВ. Партизанский комбриг (очерк)	9
П. КУЧИЯК. Красный партизан Матвей Кузлеков (очерк)	13
И. БАКЛЫКОВ. Вражда (главы из романа)	16
К. КОЗЛОВ. Будни родной стороны (очерки)	46
Р. ПАХАЕВ. Далекие огни (рассказ)	52
В. КУЧИЯК. Ошибка Саламчи (стихи)	54
В. КУРЗОВ. Сквозь призму настоящих будней (стихи)	55
В. АЛТАЕВ. Бия (стихи)	55
М. БОЧАРОВ. Жанровое своеобразие комедии	
В. В. МАЯКОВСКОГО „Баня“	56
Т. ТЮХТЕНЕВ. Тема Октябрьской революции и гражданской войны в алтайской литературе	68

Редакционная коллегия:

Бочаров М. Д. (отв. редактор), *Гринин А. Г.*, *Козлов К. И.*, *Костенко Н. Г.*,
Кочеев И. П., *Стахова А. П.*, *Тадыев П. Е.*, *Шевцов П. П.* (зам. редактора).

Редактор *М. Д. Бочаров*. Технический редактор *М. И. Тихтисков*.
Корректоры *А. Борбурев*, *М. Макошева*.

Сдано в набор 20 X-57 г. Подписано к печати 25/X-57 г. Формат 84X108^{1/2}.
П. л. 4,5. Уч.-изд. л. 7,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 85. АН № 10531. Цена 2 руб. коп.

Типография № 15, крайполиграфиздата г. Горно-Алтайск, проспект Сталина, 17.

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предм. выдач _____

